Беседы ОБ АРХИВАХ
М. ЧУДАКОВА





М. ЧУДАКОВА

Беседы об АРХИВАХ

М. ЧУДАКОВА



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1980

2-е издание, исправл.

Чудакова М. О.

Ч-84 Беседы об архивах. — 2-е изд., испр. — М.: Мол. гвардия, 1980. — 224 с., ил. — (Эврика).

В пер. 55 коп. 50 000 экз.

Книга знакомит с увлекательным трудом собирания писем, рукописей, архивов общественных деятелей, писателей и ученых, уникальных коллекций. Особое внимание уделено задаче сохранения документов сегодняшнего дня.

Ч $\frac{60200-060}{078(02)-80}$ 091—80. 4403030000

ББК 79.3
902.9

МОИМ ДРУЗЬЯМ,
ЖИВЫМ И МЕРТВЫМ

И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие.

Н. Заболоцкий

ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ

— Вполне в соответствии с усвоенными в детстве грамматическими категориями времени мы ежедневно распределяем поток своих мыслей по трем направлениям: прошлое, настоящее, будущее.

— Деление это давнее. У древних греков существовало мифическое представление о мойрах, о трех богинях судьбы. Первая олицетворяла собою неуклонное и спокойное действие судьбы, вторая — ее случайности, а третья — неотвратимость ее решений. Сидя на высоких стульях, в белых одеждах, с венками на головах, все три пряли на веретене необходимости нить человеческой жизни и в лад с голосами сирен, восседавших на том веретене, пели каждая о своем: Лахесис — о прошлом, Клото — о настоящем, Атропос — о будущем.

Всего более всегда удивляло и волновало человека постоянное обращение его собственной мысли к прошлому. Поэзия вопрошала:

Зачем душа в тот мир стремится,
Где были дни, каких уж нет?
Пустынный край не населится,
Не узрит он минувших лет...

Так говорилось более полутора столетий тому назад. А герой одного из современных фантастических рассказов предлагает свое, не лишенное интереса, измерение трех сфер времени: «Если представить себе время как прямую линию, проведенную из прошлого в будущее, наше сознание можно уподобить колесу, которое катится по этой линии и касается ее в одной только точке.

Эту точку мы называем настоящим моментом, который тут же становится моментом прошедшим и уступает место следующему. Исследования психологов показали, что у того, что мы воспринимаем как текущее мгновение, на самом деле есть какая-то протяженность, и оно охватывает немножко менее половины секунды».

Менее половины или даже несколько более секунды — неопровержимо одно: то, что мы воспринимаем как «настоящее время» и что интуитивно ценим если не больше, то живее и острее всего, занимает ничтожно





малое место рядом с огромной областью нашего «прошлого» и гипотетической, но также рисующейся человеку, пока он жив, достаточно обширной сферой его «будущего».

Голландский футуролог Ф. Полак утверждает, что конкретные образы будущего воздействуют на настоящее, что они могут менять его, даже давать ему иное направление. То, что мы только предвкушаем, к чему стремимся, образует значительную часть нашего настоящего. Прошлое и будущее — вот с чем постоянно имеем мы дело, даже если нам и кажется, что более

всего мы озабочены текущим днем и его нуждами. Мы переживаем заново уже происшедшее и строим планы на будущее. Мы ли движемся во времени, время ли обтекает нас — мимо каждого несется неостановимый поток переживаемых моментов, на глазах застывающий в огромные глыбы пережитого. И это пережитое, прошедшее неукоснительно становится значительнейшей частью нашей жизни — оно во многом определяет и наше настоящее, и будущее. «У него была крайне интересная жизнь», «Человек с богатым прошлым», «Человек со сложной судьбой» — эти слова мы слышим ежедневно, и говорят они о том, что прошлое не исчезает, оно продолжает существовать. И даже тот, кто, по единодушному приговору знакомых, «живет сегодняшним днем», — и он не может обойтись без своего прошлого, только его отношения с ним бессознательны и невнятны.

Начнем же с уверенности, что самые простые вещи бывают нередко хуже всего известны и что одно уж их разъяснение может побудить многих людей к действиям, в результате которых будет выполнена неоценимая для историков нашего общества работа. Сейчас зарывают в землю на большие глубины капсулы с разнообразными предметами, характеризующими текущие годы, — послания нашего века в будущее. Но хотелось бы напомнить и о более традиционных и многократно выдержавших проверку способах консервации уходящей эпохи.

«А ведь посмеются над нами лет через триста! — сетовал еще в 1924 году один писатель. — Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги и паспорта. Какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилищной площади... Ну что ж! Пущай смеются. Одно обидно: не поймут ведь, черти, половину. Да и где ж им понять, если жизнь у них такая будет, что, может, нам и во сне не снилась. Автор не знает и не хочет загадывать, какая у них будет жизнь. Зачем же трепать нервы и расстраивать здоровье — все равно бесцельно, все равно не увидит автор этой будущей прекрасной жизни».

Не будем вслед за М. Зощенко загадывать и мы, оставив это занятие футурологам; предположим: успехи науки и промышленности, социальные преобразования вскорости или со временем коренным образом изменят самый облик планеты и жизнь людей, ее населяющих.

Останемся, однако, при глубоком убеждении, что и тогда человечество, занятое своим прекрасным настоящим, какое нам «и во сне не снилось», сохранит интерес к своей истории. «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим» (А. Пушкин), но нет у нас оснований подозревать своих потомков в таких достойных сожаления качествах. И вот тогда непременно хотелось бы, чтобы все-таки поняли — хотя бы и «половину».

Помню — значит, существую: именно так могли бы сказать о себе и отдельные люди, и сообщества людей. Ведь даже проблема принципиальной возможности резкого увеличения сроков жизни человека — до нескольких сотен и более лет — наталкивается на препятствие, связанное с памятью: встает вопрос, какого же размера должны быть кладовые памяти такого жителя веков и где они будут размещаться. Ибо стало уже аксиомой, что вне непрерывной памяти о прошлых событиях личность человека немыслима. «Человек — сумма своего прошлого», — утверждает У. Фолкнер. В известном смысле и человечество есть сумма своего прошлого; с прошлым, с представлением о традиции прочно связано, во всяком случае, понятие культуры.

Один из важнейших резервуаров памяти человечества — архивы.

— Архивы? Какие-нибудь денежные ведомости, документы, по которым люди впоследствии могут оформить себе пенсии, навести справки?

— Отчасти и это. Такой архив есть при каждом учреждении. Наглядней всего описан он в главе о Варфоломее Коробейникове в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Старгородский архивариус устроил у себя на дому нечто вроде филиала городского архива.

«...Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский стол с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры: А, Б, В и далее, до арьергардной буквы Я. На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой.

— Ого! — сказал восхищенный Остап. — Полный архив на дому!

— Совершенно полный, — скромно ответил архивариус. — Я, знаете, на всякий случай... Коммунхозу он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться... — Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения. — Все здесь, — сказал он. — Весь Старгород! Вся мебель! У кого когда взято, кому когда выдано. А вот это — алфавитная книга, зеркало жизни! Вам про чью мебель? Купца первой гильдии Ангелова? Пожа-алуйста. Смотрите на букву А. Буква А, Ак, Ам,





Ан, Ангелов... Номер? Вот! 82742. Теперь книгу учета сюда. Страница 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у Ангелова 18 декабря 1918 года: рояль «Беккер» № 97012, табурет к нему мягкий, бюро две штуки, гардеробов четыре (два красного дерева), шифоньер один и так далее...»

Название «архив» явилось в русском законодательстве впервые при Петре I. В «генеральном регламенте коллегиям» предписано было иметь два архива — один, общий для всех петровских министерств, в специальном ведении коллегии иностранных дел, и второй — финан-

совый. Было постановлено, чтобы в канцеляриях и конторах оконченные дела хранились не более трех лет, а затем сдавались в архив под расписку архивариуса. Наименование это также введено было при Петре I. Специального образования для этой должности не требовалось (вплоть до начала двадцатого века) — сенатом решено было только, чтоб «в архивариусы избирать людей трезвого жития, неподозрительных, в пороках и иных пристрастиях непримеченных...»

Уже после смерти Петра, в целях сохранности архивных документов (которые еще недавно лежали в московских приказах и воеводских избах, ничем не защищенные от многочисленных пожаров), отдано было распоряжение сделать во всех губерниях и провинциях «по две палаты каменные, от деревянного строения не в близости, со своды и полы каменными и с затворы и двери и решетки железными, из которых бы одна была на архиву, а другая на поклажу денежной казны», но выполнено это практически не было.

К концу XVIII века образованы были Санкт-Петербургский и Московский архивы старых дел, в которых сосредоточены были архивы центральных учреждений Российской империи — Берг-коллегии, ведавшей рудокопными делами («берг» по-немецки «гора»), Коллегии экономии, Камер-коллегии, Главного магистрата. Когда петровская коллегия иностранных дел стала министерством, при ней учрежден был Государственный архив (в Петербурге). В него перенесены были важнейшие и в большинстве своем секретные бумаги — материалы из кабинета Екатерины II, в том числе ее мемуары, которые не разрешалось читать при Николае I даже взрослому наследнику престола; документы, сохранившие для будущих историков сложные обстоятельства вступления на престол Николая I, дела Следственной комиссии и Верховного суда 1825—1826 годов. С упразднением Архива старых дел (в 1834 году) часть весьма важных бумаг XVII и XVIII вв. также попала в этот архив.

В конце XIX века один из авторитетных энциклопедических словарей разъясняет не без торжественности: «Расположенный в роскошном помещении министерства, этот архив, состоящий в ведении особого управляющего (при коем старшие и младшие архивариусы), допускает посторонних лиц к занятиям только по особому высочайшему разрешению, так как его дела составляют го-

сударственную тайну. Много важных исторических работ совершено нашими учеными на основании сокровищ этого архива».

«Роскошное помещение» — это здание Главного штаба, и посейчас огромной подковой огибающее Дворцовую площадь в Ленинграде. (Это о нем написал современный поэт: «О здание Главного штаба! Ты желтой бумаги рулон, Размотанный слева направо И вогнутый, как небосклон».) Сюда в феврале 1832 года из своей квартиры на Морской (ныне ул. Гоголя) ходил А. Пушкин — в это время он начал читать «кабинетные бумаги» Петра, работая над «Историей Петра I» — один из последних и незавершенных трудов. Рукопись его была опубликована только через сто лет после смерти поэта. Исследователь «Истории Петра» И. Фейнберг путем многолетних разысканий (план которых обдуман был еще в годы войны, когда историк литературы нес службу в качестве военного корреспондента на Северном флоте) установил, что А. Пушкину удалось получить доступ даже к документам, хранившимся в Секретном отделении Государственного архива, наиболее «закрытым» из которых было дело царевича Алексея, лежавшее вплоть до 1827 года в запечатанном сундуке.

В июле 1831 года Пушкин обратился с официальной запиской к А. Бенкендорфу, выразив желание вновь вернуться на государственную службу (он числился на ней — по выходе из лицея — до 1824 года: южная ссылка имела форму перевода по службе). Одной из основных причин было желание получить доступ к архивам. Пушкин вплотную подошел тогда к мысли о занятиях историей. Он пишет Бенкендорфу (а следовательно, царю): «Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими разысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III». На официальном этом письме Бенкендорф наложил резолюцию: «...государь велел принять его в Иностранную коллегию с позволением рыться в старых архивах для написания Истории Петра Первого». В эти же дни Пушкин воодушевленно пишет П. Нащокину, одному из своих самых коротких друзей, почти

теми же словами: «Нынче осенью займусь литературой, а зимой зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне царем». Слова эти витают с тех пор в переписке Пушкина и его родных. Сестра поэта сообщает мужу 6 декабря 1835 года, что Пушкин собирается в Москву: «Он уверяет, что должен туда поехать, чтобы рыться в архивах». В незаконченной поэме «Езерский» — эти же слова, как видим, основательно «обеспеченные» биографией поэта.

...Вот почему, архивы роя,
Я разобрал в досужий час
Всю биографию героя,
О ком затеял свой рассказ.

Погрузившись зимою 1832 года в архивные занятия, А. Пушкин уже не оставляет их до конца своей жизни, обнаружив черты проницательного источниковеда. В 1836 году Пушкин ходил в московский Главный архив Министерства иностранных дел — тот самый, где служили знаменитые «архивны юноши», разглядывавшие «чопорно» Татьяну на балу в седьмой главе «Евгения Онегина». В среде этой были в 20-е годы прошлого века литераторы В. Одоевский и Д. Веневитинов, братья Киреевские (а задолго до того — рано умерший поэт Андрей Тургенев, брат декабриста Николая Тургенева и известного деятеля культуры пушкинского времени Александра Тургенева — того самого, кому единственному было позволено впоследствии сопровождать до могилы тело Пушкина).

Устроенный еще при Петре I, архив этот принял дела бывшего Посольского приказа. Сначала он размещался в кремлевских палатах, а в пушкинское время — в купленном для него доме князя Голицына, у Покровских ворот. Сюда-то и стремился Пушкин, отправляясь 28 апреля 1836 года в Москву — в последний раз в своей жизни; о нем писал жене в каждом из писем: «Вот уже три дня я в Москве, и все еще ничего не сделал: Архива не видал, с книгопродавцами не сторговался...» Попасть в архив было непросто. Управлял им А. Малиновский, историк и археограф, получивший репутацию человека, «который думает, что архив... тогда только важен, пока неизвестен...».

«Жизнь моя пребеспутная, — писал Пушкин жене 11 мая. — Дома не сижу — в Архиве не роюсь. Сегодня еду во второй раз к Малиновскому»; на этот раз визит был, видимо, удачен, и через три дня Пушкин пишет:

«В Архивах я был и принужден буду опять в них зарыться месяцев на 6...»

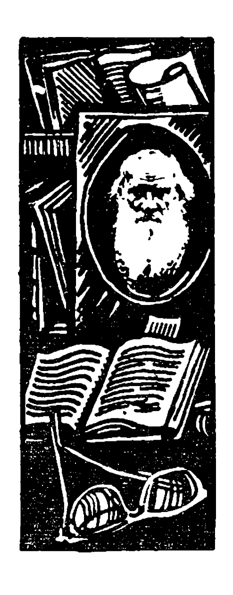
— Так что же это такое — архивы, архивные материалы?

— Слова эти употребляются в разных значениях, да к тому же значения эти менялись во времени. В конце века под архивным материалом понимали совокупность всех тех рукописных, изобразительных и печатных документов, которые в официальном порядке оказывались в стенах государственного учреждения, — приказы, циркуляры, отношения, официальная переписка — словом, все бумаги, отражающие деятельность учреждения и попавшие на государственное хранение. Архивы же частных лиц примерно до двадцатых годов нынешнего века вообще не причислялись к архивным материалам. Одним из первых определений архива, близким к нынешнему пониманию, было такое: приведенное в порядок собрание документов, образовавшихся в процессе деятельности организаций или отдельных лиц...

В 1919 году выпущена была специальная брошюра с пространным названием: «Почему необходимо бережно хранить собрания документов и чем всякий из нас может помочь в этом деле». Сама брошюра составляла семь страниц небольшого формата, зато издана была большим тиражом и взывала ко всему населению страны (такого рода издания назывались тогда листовками). Начиналась она с объяснений — что такое архив: «Собрание хранимых в порядке документов и бумаг, иногда совсем недавних, а иногда старинных, называется архивом. Каждый архив является драгоценным народным достоянием, подлежащим самой бережной охране... Какими бы малоинтересными и неважными ни казались на первый взгляд документы некоторых архивов должностных лиц и казенных учреждений, как упраздненных (например, прежних земских начальников и волостных правлений), так и действующих (например, казенных палат, акцизных и почтово-телеграфных установлений), точно так же, как и архивы с бумагами общественных учреждений (например, земских, городских, монастырских, церковных) и частных лиц (например, бумаги, оставшиеся в прежних помещичьих усадьбах), — все эти бумаги очень ценны и сейчас, и особенно в будущем. В руках знающих людей они явятся очень важным материалом для ознакомления не только

с великими событиями нашего времени, вроде мировой войны 1914—1918 гг. или Февральской и Октябрьской революций, которые, естественно, всегда будут возбуждать живой интерес будущих поколений, но и с самой обстановкой нашей повседневной общественной и частной жизни с ее особым, резко изменившимся по сравнению с недавним прошлым укладом».

Автор этой брошюры-листовки обладал не только высоким историческим сознанием, но и пафосом практического деятеля, стремившегося научить каждого пра-





вильному обращению с попавшими в его руки бумагами. Он брался определить «всем доступные житейские средства помощи, которыми решительно всякий, кто сознает указанное огромное значение архивов для перестройки всей жизни общества и государства, может и должен оказать содействие специалистам...

1. Каждый раз, когда случится обнаружить хотя бы и небольшое собрание документов и бумаг, отражающих деятельность какого бы то ни было, безразлично, действующего или упраздненного учреждения или должностного лица (например, любой крестьянской органи-

зации, деревенского кооператива, больницы, школы, церкви, монастыря, войсковой части, фабрики, завода, бывших урядника или земского начальника и т. д.) или же принадлежавших раньше частному лицу (например, доктору, учителю, помещику, священнику, купцу и др.), поскорее довести об этом до сведения ближайшего народного учителя или культурно-просветительного отдела местного Совдепа, а еще лучше — сверх того в Главное Управление Архивным Делом Петрограда (следует адрес) или Москвы (и также адрес), куда ближе».

Поражает заботливая конкретность тех указаний, которые дает автор брошюры своему читателю. Он понимает, что декларации о пользе архивов недостаточны, что в той особенной обстановке, в которой писалась листовка, нужно обучить каждого практическим действиям: «2. Если обнаруженные документы и бумаги еще не находятся под чьим-либо непосредственным присмотром — постараться отыскать из среды местных граждан кого-нибудь, кто согласился бы временно охранять их целость, объяснив ему, какую громадную услугу окажет он этим народу и государству.

3. Если документы и бумаги лежат у всех на виду и никто о них не заботится — тщательно собрать их и сдать на хранение надежному лицу, например, школьному учителю или же в указанный (то есть культурно-просветительный. — *М. Ч.*) отдел ближайшего Совдепа...

4. Если документы и бумаги находятся в явно неподходящем помещении, откуда, например, легко могут быть расхищены, или же где их может испортить вода от дождя, таяния снега, разлива реки или грязь при распутице, или же, наконец, где они могут сгореть от соседства, например, с баней или кузницей, — сразу же обратить на это внимание того, кто за ними присматривает, постаравшись указать более подходящее помещение, где они могли бы хотя временно храниться без опасности погибнуть от расхищения, сырости, грязи, мороза, наводнения или пожара».

Вы улыбаетесь наивности этого перечня? И совершенно напрасно, нужно заметить. Все эти опасности подстерегают рукописи и по сию пору, и если, скажем, уменьшилась угроза пожара, то резко возросла вероятность гибели забытых на чердаке бумаг во время сноса старого дома. А с рукописями, весьма сильно, а нередко непоправимо подпорченными сыростью во время хра-

нения их в частных руках, архивисту приходится встречаться постоянно.

Если так велика угроза гибели рукописей, то возникает вопрос: а что же осталось от далеких времен русской истории?

Остались летописи. Со времен Нестора-летописца — то есть с конца XI века — прослеживается писание их по русским монастырям. В крупных монастырях хранились списки с официальных летописных сводов. Записывать текущие события было делом естественным, неоспоримым. Ставить же имя свое под этими писаниями считалось делом суетным, никчемным. Имена эти восстанавливаются с трудом, по косвенным данным, и далеко не во всех случаях.

Есть и другие документы. О XVI веке рассказывают, например, материалы так называемого Царского архива. Правда, значительная их часть погибла — однако представление о ней дает опись этого архива, сделанная в 70-х годах XVI века.

Заметим, кстати, что сами авторы летописей не довольствовались устными воспоминаниями очевидцев и собственными наблюдениями, а обращались к архивным документам. Так Нестор пользовался, предполагают, архивом князя Святополка, где хранились договоры с греками.

Наиболее ранние сведения о существовании архивов на Руси относятся к XIV—XV векам. Правда, в это время не было архивов как хранилищ одних только документов — они хранились вместе с книгами, деньгами, и возникали такие хранилища чаще всего при церквах и монастырях. В XVI веке все центральные и местные правительственные учреждения имели свои хранилища документов, хотя чаще всего очень плохо устроенные — документы хранились на скамьях, на столах, на полу, а то и в лукошках, — в старинных описях архивов можно встретить слова «в трех ларях и пяти лукошках».

«В силу нераздельности в те времена старых и текущих дел, — пишет И. Маяковский в своем «Историческом очерке архивного дела в России» (1920), — хранилищем и тех и других одинаково служила съезжая изба, одновременно представлявшая собой и присутствие, и архив с их текущим и оконченным делопроизводством. Документы обычно размещались либо на

столах, либо на скамьях или на «тюшаках» — скамьях с тюфяками, а иногда и прямо на полу. Если при этом помнить, что здесь же происходили и все служебные занятия, и административное воздействие воеводы на местных жителей, не раз жаловавшихся, что он их, «сирот бьет и увечит и в приказ и за решетку сажает», то станет ясно, что самые условия хранения документов не были сколько-нибудь благоприятными и с ростом архивов не только не улучшались, но большею частью значительно ухудшались».

В XIX веке в России существовало уже достаточно разветвленное архивное дело. Далеко не сразу, однако, было осознано значение архивов как собрания исторических источников, необходимых для нужд науки.

Одним из первых следует вспомнить замечательного деятеля русского архивного дела Николая Васильевича Калачева, с 1865 по 1885 год управлявшего Московским архивом Министерства юстиции. На I и II археологических съездах в Москве в 1869 и 1872 годах он обратил внимание общественности на научное значение архивов и выдвинул свой проект архивной реформы, одним из главных пунктов которой было учреждение центральных архивов. До него на архивы смотрели как на придатки учреждений, склады дел, законченных производством. Читатель, уже пожелавший составить некоторое представление об отечественном архивном деле, оценит, нам кажется, разумное и ясное рассуждение одного из его основателей. Рассматривая положение архива при учреждении, Н. Калачев писал: «На первых порах регистратура отмечает, что и когда сдано в архив, а приемщик документа или дела назначает место, где тот или другой нумер должны храниться. Не оставаясь в таком положении, бумаги с течением годов разрастаются так, что наконец в уме архивариуса невольно возникает вопрос: где их помещать на будущее время, так как архив ими уже переполнен, да и нужно ли оставлять их на вечное хранение? Припомнив, что место, сдающее свои дела, ограничивается при этом лишь требованием, чтобы они окончены были производством, а не объясняет, насколько они могут быть ему полезны на будущее время для справок, архивариус, естественно, приходит к мысли, что, конечно, многие из принимаемых им дел совершенно бесполезны и впредь не потребуются и что, следовательно, их необходимо

уничтожить по крайней мере для того, чтобы очистить место для будущих дел. Но при этой мысли он опять останавливается на вопросе: а как мне знать, что когда потребуется? Могу ли я безнаказанно уничтожить дела, вверенные моему хранению? Таким образом, в самом скором времени по учреждении архива является потребность в установлении положительных правил, с одной стороны, относительно разбора и размещения дел в архиве, а с другой, относительно уничтожения тех из них, которые оказываются бесполезными. Но если первая из этих задач может быть разрешена более или менее удачно, смотря по степени теоретического образования и практических соображений архивариуса, вторая, напротив того, составляет поистине камень преткновения для человека, сколько-нибудь развитого и интересующегося делом. Легко уничтожить все, что попадет под руку, но если дело, действительно не нужное для учреждения, в котором оно производилось, имеет за собою тем не менее интерес исторический или представляется любопытным в отношении юридическом, сельскохозяйственном и тому подобном, то неужели можно его уничтожить; однако и оставлять такое дело в этом архиве не следует, так куда же с ним деваться, кому его сдать для дальнейшего вечного хранения? И вот в уме добросовестного знатока своих документов мелькает уже мысль о необходимости устройства центральных ученых архивов, в коих исследователи, жаждущие изучения своего предмета на основании первых источников, могли бы черпать нужные им сведения из дел, имеющих для них значение еще нетронутых рукою рудников».

В конце 1890-х годов Московское археологическое общество подготовило проект коренной реформы всего русского архивного дела; имелось в виду учреждение центрального архивного управления, «ведению которого подлежали архивы по всем вопросам их жизни, а именно: о штатах, помещениях, о порядке и правилах регистрации и контроля архивной службы и т. п.». Предусматривалось образование единого центрального государственного архива, под ним «лежала вторая ступень архивов — это так называемые центральные областные архивы, расположенные в двенадцати крупных городах России». Под ними должен был находиться третий слой — губернские центральные архивы, которые предполага-

лось открыть во всех главнейших провинциальных городах, где не было областных архивов. Поступив на рассмотрение министра внутренних дел, проект дальнейшего движения так никогда и не получил.

Архивисты стремились во всяком случае задержать уничтожение ценных документов.

В том самом архиве, который был с 1865 года под его началом, Н. Калачев спас от гибели 363 вязки дел времени Иоанна Антоновича — его предшественник П. Иванов предназначил их к уничтожению с замечательной мотивировкой: как совершенно бесполезные и излишние для хранения «тем более, что о сожжении этих дел состоялось два сенатских указа от 30 марта и 30 июня 1745 года»... Н. Калачеву принадлежит фраза, до сих пор с сочувствием повторяемая архивистами: «Лучше лишних сто дел хранить, чем уничтожить десять нужных».

Одна из первых инструкций по экспертизе, разработанных в советское время, запретила в январе 1919 года уничтожение документальных материалов, возникших ранее 1811 года, и впервые в истории отечественного архивного дела требовала предварительного просмотра каждой единицы «от листа до листа». В 1925 году специальное положение Центрального архивного управления запрещало уничтожать документы ранее 1825 года... Сегодня этой «запретной» датой считается 1861 год.

— Как же определить — ценные это бумаги или нет? Не тащить же любую бумажку в государственный архив?

— Вы заметили, что в призывах брошюры 1919 года — ни слова об определении ценности? Автор вовсе не ставит перед своим читателем такой задачи — он решительно уводит его от каких бы то ни было размышлений на эту тему. Никто не может и не должен брать на себя решение, которое ему не под силу, к которому он не подготовлен профессионально.

Только специалист может осмыслить историческую ценность документа. Дело других — оказать документу первую помощь — так сказать, до прихода врача. И уж, конечно, не браться его реставрировать, подклеивать, подрезать обтрепавшиеся края бумаги. Сколько текстов погибло таким образом!

Что же произошло с государственными архивами Российской империи (существовал еще и Архив святей-

шего синода, и Архив Морского министерства, и губернские исторические архивы, и многие другие) после революции? Какова нынешняя система государственного хранения?

Декретом от 1 июня 1918 года все архивы правительственных учреждений ликвидировались и становились частью единого Государственного архивного фонда. Это означало, что дела всех учреждений бывшей Российской империи, где бы они ни хранились, объявлены были общенародной собственностью. Было созда-





но множество государственных архивов — центральных, краевых, областных, городских и проч. Туда постепенно стали стекаться документы, уцелевшие от потрясений времени гражданской войны.

Значительная часть этих документов перешла в новообразованные архивы из старых архивных учреждений. Так, в Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА) попали документы уже известных нам Государственного архива Российской империи и Московского архива бывшей коллегии иностранных дел, а также бумаги Главного межевого архива, где храни-

лись материалы учреждений, занимавшихся со второй половины XVIII века межеванием земель в России и накопивших богатые географические, экономические и прочие сведения. Архив этот помещается в здании бывшего архива Министерства юстиции — первом в России специально спроектированном для архива здании, выстроенном по инициативе Н. Калачева в Москве на Девичьем поле в 1886 году.

В архиве сохранились бумаги приказов времени царя Алексея Михайловича и первых лет царствования Петра — Посольского, Поместного, Холопьего, Иноземского. Бумаги Сибирского приказа хранят сведения о русских мореплавателях и землепроходцах — С. Дежневе, В. Пояркове, Е. Хабарове, об экспедициях В. Беринга.

Центральный исторический архив (он находится в Ленинграде) хранит фонды органов государственной власти Российской империи с эпохи Петра I и до первых десятилетий XX века: подлинные указы, манифесты и рескрипты, архивы Государственного совета, сената и синода, Государственной думы, Комитета министров...

В Москве находится Военно-исторический архив СССР. В XVIII веке существовал Департамент Главного штаба. Он был упразднен Павлом I, а карты, планы и чертежи, там хранившиеся, были переданы во вновь образованное «Собственное его императорского величества депо карт». Это архивное заведение, в свою очередь, не раз переименовывалось, и теперь его материалы сосредоточены в Военно-историческом архиве вместе с огромным фондом дел того самого Московского отделения общего архива Инспекторского департамента Главного штаба, откуда Пушкину в 1833 году было прислано восемь толстых сшивок архивных документов по пугачевскому восстанию (в конце прошлого века учреждение это было известно под названием Лефортовский архив). Здесь сегодня находят документальные источники истории русско-турецких и русско-шведских войн XVIII—XIX веков, Отечественной войны 1812 года, Крымской войны 1853—1856 годов, русско-японской и первой мировой... Там хранятся рукописные карты и атласы, проекты и чертежи военных крепостей, личные фонды М. Барклая де Толли и А. Суворова, Г. Потемкина и А. Аракчеева и всем разнообразием хранящихся в них документов — реляций,

донесений, частной переписки — служат целям изучения отечественной истории.

В огромном хранилище Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и государственного управления собраны материалы по истории разнообразных политических партий Российской империи, документы, восстанавливающие этапы подготовки революции, а также характеризующие деятельность Совнаркома первых пореволюционных лет, работу ГОЭЛРО, Наркомзема РСФСР — словом, многочисленных органов управления советского времени.

Кроме архивов, в фондах которых очевидна преемственность с прежними архивами, есть и архивы совсем новые — и по целям своим, и по самой структуре. Таков, например, ведущий свое начало с 1926 года Центральный государственный архив кинофотодокументов СССР, где хранятся оригиналы пленок документальных и художественных фильмов, Центральный государственный архив звукозаписей, Центральный государственный архив научно-технической документации СССР.

В августе 1920 года при Госиздате был создан Истпарт — Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б). Она активно занималась собиранием архивных материалов по истории партии (среди них и воспоминания участников и свидетелей революционных событий), издавала «Бюллетени Истпарта» и журналы «Красная летопись» и «Пролетарская революция». В 1921 году был организован Институт Маркса и Энгельса, а в 1923-м — Институт В. И. Ленина. Институты эти собирали материалы о жизни и деятельности Маркса, Энгельса и Ленина по частным и государственным архивам, причем не только в пределах нашей страны, но и в странах Европы и Америки. Когда выявленные документы не удавалось получить в оригиналах — приобретались фотокопии. В 1928 году оба института были объединены с Истпартом. Сейчас работа по собиранию архивов виднейших советских государственных и партийных деятелей, а также участников русского и международного революционного движения сосредоточена в Центральном партархиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В его хранилище — фонд № 1: архив Маркса и Энгельса,

в котором собрано около восьми тысяч документов. В фонде № 2 — рукописи В. И. Ленина (около 33 тысяч документов), письма, 874 метра кинохроники, снятой при жизни Ленина. Здесь же находятся личные фонды А. Бебеля, В. Воровского, Ф. Дзержинского, А. Елизаровой-Ульяновой, А. Жданова, С. Кирова, Н. Крупской, В. Куйбышева, Ф. Лассаля, П. Лепешинского — одного из организаторов и руководителей Истпарта, А. Луначарского, Г. Орджоникидзе, Г. Плеханова, Я. Свердлова, И. Сталина, Е. Стасовой, К. Цеткин, Е. Ярославского и многих других. Архивы филиалов ИМЛ, партийные архивы обкомов и крайкомов КПСС собирают фонды своих партийных работников. Документы, связанные с историей комсомола, хранятся в Центральном архиве ВЛКСМ.

Но обратимся теперь от архивохранилищ к архиву в более узком смысле — собранию бумаг, связанных с жизнью какого-либо лица, то есть личному архиву.

Посмотрим прежде всего на эти материалы, когда они попадают — еще не на хранение, а пока только на научную экспертизу — в стены архивохранилища.

Чемоданы, большие картонные коробки из-под папиросных пачек или раздувшиеся от бумаг папки с тесемками, высокие коробки из-под печенья и плоские — конфетные, связки, старые рыжие портфели, круглые кожаные футляры, в которых хранятся жалованные грамоты. Снова связки, завернутые в старые газеты, не развязывавшиеся по тридцать, сорок и более лет. И вот все эти материалы, привезенные в государственное архивохранилище, поступают на стол архивиста. Теперь он должен разобрать их, отделить творческие рукописи от писем, биографические и служебные документы фондообразователя (не совсем благозвучный, но вполне точный термин) от собранных им коллекционных материалов (не имеющих отношения ни к нему, ни к его семье и составляющих поэтому совершенно самостоятельную часть его архива). Архивист должен изучить почерк этого главного лица, чье имя получит архив, а вернее сказать, почерки — крупный детский, неустойчивый юношеский, твердый почерк зрелых лет, неуверенные строки, выписанные дрожащей старческой рукой. Он должен уметь отличить этот все-таки единственный на протяжении жизни человека почерк от почерка членов его семьи, его друзей, учеников, присылавших

ему свои статьи... Работа предстоит огромная; сама возможность ее выполнения непостижима для непосвященного — кажется, никогда эти груды бумаг не будут разобраны, приведены в порядок, не получат точного наименования. Но подождем говорить об этих трудностях, подойдем ближе к тому столу, на который выкладывается сейчас архив, только что привезенный из частного дома. Задумаемся — что же перед нами?

Бумаги, бумаги... Они рассыпаются по столу, сложенные вчетверо, засунутые в большие и маленькие конверты... Между ними попадаются письма на печатных бланках журналов «Библиографические известия», «Русский вестник», «Аполлон»... Вот марка издательства «Алконост» — первой книжкой, выпущенной им в 1918 году, был «Соловьиный сад» Блока. И снова эта марка на бланках журнала «Записки мечтателей», выходившего в том же издательстве. Письмо Андрея Белого — на бланке издательства «Скифы»: обнаженный воин, поражающий дракона, — марка работы К. Петрова-Водкина; а на письме С. Полякова, редактора журнала «Весы», — марка издательства «Скорпион»: пашня с пахарем и сеятелем, охотник, натянувший лук, замок со множеством башенок и надо всем — средневековое изображение небесной сферы. Письма на бумаге верже с личным гербом, вытисненным в левом верхнем углу, запечатанные красной сургучной печатью... Такое именно письмо первой четверти XIX века описано в одном из рассказов К. Случевского: «Пафнутий тем временем открыл письмо; в те дни люди обходились большею частью без конвертов, и серо-голубоватая бумага письма попросту складывалась и припечатывалась с одного края очень плохим, красно-бурым хрупким сургучом; при малейшем сгибе сургуч осыпался, и кому только случалось держать в руках наивные письма того времени, тот видел, конечно, много раз то место, к которому некогда был приложен сургуч; память его временного местопребывания обозначается обыкновенно небольшим красноватым пятнышком. Сургуч своевременно осыпался долу, точно так же, как и человек, писавший письмо».

Письма, сплетенные в толстые тома с именами автора и адресата, золотыми буквами, выбитыми на черном кожаном переплете; большие конторские книги, в которые аккуратнейшим образом заносились владель-

цем копии всех написанных им писем — детям, племянникам, братьям, управляющему имением, — а также рапортов по службе и прошений на высочайшее имя. А вот письма на листах, вырванных из потерявших свое назначение банковских и конторских книг, — начало двадцатых годов; письма на тетрадных листочках, в конвертах с одной и той же маркой — работница в косынке, повязанной узлом назад, — тридцатые годы; открытки с несколькими строчками, пересекшими всю страну с востока на запад и возвратившими кому-то дыханье и жизнь: «...успели уехать. Добрались благополучно. Дети целы. Береги себя» — и письма, месяцами шедшие с запада на восток, написанные в окопах и госпиталях бледным химическим карандашом, продавливающим бумагу.

Записные книжки с адресами, ставшими уже мифическими, с названиями несуществующих улиц, с четырехзначными московскими телефонами... Отпечатанные каллиграфической скорописью (с еле видными «волосяными» линиями и равномернейшими утолщениями) визитные карточки с заломленным углом, свидетельствующим, что владелец карточки посетил дом и, не застав хозяев, шлет поклон. Послужные списки, наградные листы, отпускные билеты и виды на жительство, а в позднейшие времена — разнообразнейшие удостоверения личности и пропуска, которых за жизнь человеческую набирается по нескольку десятков. Купчие, данные (были такие документы — например, выданная в тридцатые годы прошлого века данная Московской палаты гражданского суда купчихе Аксинье Николаевой Чернятиной на дом с лавками в Нижнем поса́де города Звенигорода, заложенный ей мещанином Василием Ивановы́м Сологубовым, — бумага, подтверждающая право купчихи на временное владение домом). Векселя, завещания, доверенности, медицинские заключения о здоровье давно умерших людей и хозяйственные распоряжения по имениям, исчезнувшим с лица земли. Великолепной кожи, с серебряными накладками и застежками альбомы первой половины минувшего века — с рисунками художников — друзей дома, с автографами поэтов и композиторов, с переписанными рукой хозяина или хозяйки стихами, еще не попавшими в журналы и альманахи, но уже известными любителям поэзии. Семейный альбом князей Трубец-

ких с акварельными портретами членов семьи, с зарисовками комнат и двора усадьбы, с рисунком Ф. Толстого, с пейзажами и жанровыми сценами. Альбом Софьи Бобринской, озаглавленный «Мои размышления в одиночестве», где записи афоризмов, размышлений и свои стихи перемежаются списками стихотворений Байрона и Гольдсмита, Ламартина и Юнга... Красный сафьяновый альбом с металлической пластинкой посредине, на которой монограмма — «М. А.». Он принадлежал в начале прошлого века Марии Павловне Апухтиной, урожденной Фонвизиной. На первом листе — запись по-французски: «Мари! Зачем заставлять меня писать в Ваш альбом о моих чувствах, если Вы умеете читать их в моем сердце...» Рисунок — серый каменный склеп в окружении веселой зелени, на склепе табличка с надписью «19 февраля 1808 рисовал Д. Сафонов» и подпись —

Любезное глазам как цвет весенний тленно;
Любезное душе как мрамор неизменно.

Выписки из Платона, Вольтера, Паскаля, Руссо; мастерски нарисованные маленькие розовые амуры со стрелами; акварельный портрет черноглазой девушки в голубом платье с высокой талией по моде александровского времени, с высоким и пышным белым кружевным воротником; несколькими карандашными штрихами сделанный прелестный портрет совсем юной девушки, вполоборота глядящей на нас, со светлыми вьющимися волосами, перехваченными ленточкой; стихи В. Жуковского, посвященные восьмилетней дочери владелицы альбома, собственноручно вписанные поэтом; тщательно прорисованный Хронос с неумолимым и страдальческим выражением лица, увозящий в челне Амура, и подпись по-французски: «Время уносит любовь».

Такой альбом, впрочем, хорошо знаком каждому читателю — он описан в «Евгении Онегине»:

Поедет ли домой: и дома
Он занят Ольгою своей.
Летучие листки альбома
Примерно украшает ей:
То в них рисует сельски виды,
Надгробный камень, храм Киприды.
Или на лире голубка
Пером и красками слегка;

То на листках воспоминанья,
Пониже подписи других,
Он оставляет нежный стих,
Безмолвный памятник мечтанья,
Мгновенной думы долгий след,
Все тот же после многих лет.

А вот альбом совсем другого типа — альбом-коллекция с вклеенными в него автографами Александра I, Николая I, Шатобриана, Жозефины — жены Наполеона, Александра Гумбольдта, Дюма-отца... Альбом велся долго — в течение более чем полувека. Часть листов его была разлинована под ноты, и в 1834 году М. Глинка записал в нем отрывок из 1-го действия оперы «Жизнь за царя», в 1891 году оставил нотный автограф А. Рубинштейн («Вакхическая песня»). В феврале 1869 года в этот альбом вписал свой экспромт семидесятисемилетний П. Вяземский, известный литератор пушкинской эпохи, надолго переживший своих знаменитых друзей. Страница альбома заполнена характерным, крупным, совершенно прямым, с острыми углами, как бы из черточек, разбросанных в разных направлениях, составленным почерком:

Альбом Ваш стар, но стар и я.
Так что ж? Тем лучше! С ним мы пара,
И старой книги бытия
Мы ветхие два экземпляра.

Той библиотеки уж нет,
Где мы в красивом переплете,
С узорной роскошью виньет,
При яркой, свежей позолоте,

У всех стояли на виду,
И люди любовались нами,
И в молодом своем чаду
Собой мы любовались сами.
. . . .

Что ж делать? Каждому свой день!
Напрасны жалобы и пени;
Иные всходят на ступень,
Другие сходят со ступени
. . . .

Альбомная традиция продолжалась и в нашем веке и дошла до наших дней.

С 1919 года хранились два небольших альбома у их владельца — Самуила Мироновича Алянского (1891—

1974), оставившего воспоминания о последних годах жизни А. Блока. Один альбом был начат записью Блока 1 марта 1919 года о новоорганизованном С. Алянским издательстве «Алконост»: «Будет «Алконост», и будет он в истории, потому что все, что начато в 1918 году, в истории будет...» Там же записи В. Мейерхольда, П. Морозова, рисунок П. Купреянова, стихи Вяч. Иванова и вписанные матерью Блока стихи семилетнего сына. И посредине страницы отчетливым почерком с чуть скошенными строчками:

Хорсшо поют синицы,
У павлина яркий хвост,
Но милее нету птицы
Вашей славной «Алконост».

Анна Ахматова

Второй альбом был сплетен в те годы, когда бумаги не хватало, из листов разного сорта и цвета — зеленоватого, серого, бежевого, голубоватого. Записи М. Гершензона, М. Семенова-Тяншанского, В. Шишкова, М. Зощенко, стихи О. Мандельштама, Вс. Рождественского, Н. Клюева, рисунки Ю. Анненкова и А. Ремизова.

...В десятые-двадцатые годы в доме на Садово-Кудринской жила семья Григоровых, хорошо известная в кругах московской интеллигенции. Надежда Афанасьевна Григорова окончила в 1914 году медицинское отделение Московских женских курсов, получив диплом со степенью «лекаря с отличием», и вплоть до 1950-х годов работала врачом в московских поликлиниках, а муж ее, Борис Павлович, служил экономистом, а также преподавал немецкий язык в московских вузах. Когда в 1909 году они поженились, в их доме образовался своего рода литературный салон, в котором охотно бывали поэты, композиторы и художники. Сохранился альбом Надежды Афанасьевны — с вощеной обложкой сливочного цвета, на которой красной тушью изображен крылатый дракон. Красный орнамент, украшенный позолотой, вьется по всей обложке, в которую продеты тонкие кожаные завязки. Стихи А. Белого, вписанные им 20 мая 1918 года. Стихи К. Бальмонта, начало романса Н. Метнера, яркая акварель, выполненная прямо на листе альбома художником С. Лобановым, необычайной тонкости гравюра — в маленьком квадрате посреди листа — косой дождь, телега с двумя мужиками: «На доске резал

и в угодность многоуважаемой Надежде Афанасьевне в альбоме напечатал В. Фалилеев 18/VI—1922 г.», стихотворение Л. Леонова, вписанное его нарядным, напоминающим узор восточного письма почерком 20 июля 1922 года, нотный автограф Р. Глиэра: «в память наших дружеских музыкальных собраний у Надежды Афанасьевны в 1911—1912 гг.»; замечательная акварель И. Остроухова — лиловатые стволы и тонкие ветви кленов, едва проступающие сквозь желтые, розовые и оранжевые листья; тут же вписано и смиренное письмо художника: «Многоуважаемая Надежда Афанасьевна, наконец-то собрался исполнить Ваше желание испортить альбом Ваш... Если очень не понравится — вырвите листик, чем доставите мне большое одолжение...» Автограф Леонида Собинова, стихотворение С. Дурылина, строки из «Гамлета», вписанные 1 июня 1927 года рукою великого актера Михаила Чехова, рисунок гуашью М. Нестерова, последние строки романа «Белая гвардия», вписанные М. Булгаковым в 1932 году (в 1925 году в журнале «Россия» были напечатаны только две трети романа — конец его оставался неизвестен читателям).

Если бы не эта традиция, закреплявшаяся когда-то в альбомах «уездных барышень», мы не имели бы и «Чукоккалы» — знаменитых альбомов К. Чуковского с автографами едва ли не всех замечательных деятелей русской культуры нашего века.

Началом «Чукоккалы», значительнейшая часть которой только что издана наконец, была маленькая тетрадка, куда записывали начиная с 1914 года свои экспромты друзья и знакомые молодого и общительного литератора. Потом К. Чуковский заказал у переплетчика толстый альбом — и бурная литературная и художественная жизнь последующих лет стала оставлять на его страницах свои засечки — драгоценные для будущего читателя следы исторического бытия.

Блок, Репин, Горький, Маяковский...

Что ж ты в лекциях поешь,
Будто бы громила я,
Отношение мое ж
Самое премилое

...Собинов, Петров-Водкин, Шаляпин, Куприн, Анна Ахматова, Алексей Толстой, Пришвин, Пастернак, Исаковский, Евтушенко...

Когда в 1966 году К. Чуковский подготовил «Чукоккалу» к изданию, он написал в предисловии: «Главная особенность «Чукоккалы» — юмор. Люди писали и рисовали в «Чукоккале» чаще всего в такие минуты, когда они были расположены к смеху, в веселой компании, во время краткого отдыха, зачастую после тяжелых трудов. Потому-то на этих страницах так много улыбок и шуток — порой, казалось бы, чересчур легкомысленных».

Законным объектом юмора становится и сам владелец альбома, и в августе 1919 года Вяч. Иванов вписывает «свой стихотворный экспромт, который, — комментирует Чуковский спустя полвека, — я считаю одним из лучших стихотворений в «Чукоккале»: такое оно классически четкое, остроумное, меткое. Начинается оно похвалами, а кончается суровой хулой:

Чуковский, Аристарх прилежный,
Вы знаете — люблю давно
Я Вашей злости голос нежный,
Ваш ум, веселый, как вино.

. . . .

Полу-цинизм, полу-лиризм,
Очей притворчивых лукавость,
Речей сговорчивых картавость
И молодой авантюризм».

Магическая сила альбомов — вызывать к жизни стихи, которые могли бы никогда не появиться. Жанр экспромта — особый, преднамеренность действует, и за знакомым лицом конкретного адресата мерещатся неведомые лица тех, кто откроет альбом как документ исторический. И в стихотворении Блока 1919 года появляются строки:

...А далекие потомки
И за то похвалят нас,
Что не хрупки мы, не ломки,
Здравствуем и посейчас.

Ю. Тынянов в 1925 году запишет:

Сижу, бледнея, над экспромтом —
И даже рифм не подыскать.
Перед потомками потом там
За все придется отвечать.

А Михаил Зощенко в 1934 году, в поезде, в котором ехали на Первый Всесоюзный съезд писателей ленин-

градские литераторы, впишет в альбом такие слова: «Наибольше всего завидую, Корней Иванович, тем Вашим читателям, которые лет через пятьдесят будут читать Ваши дневники и весь этот Ваш замечательный материал».

Дневники Чуковского, о которых упоминает Зощенко, замечательны прежде всего тем, что велись они 68 лет неустанно, без поблажек себе — то есть почти без перерывов. Легко вообразить, какой важной частью личного архива Чуковского стали они сегодня, какой ценный это источник по истории литературной жизни (хранятся они у внучки писателя Е. Ц. Чуковской).

Но вот и совершенно иные документы. Чем старее они, тем больше среди них таких, само наименование и содержание которых уже еле внятно современнику.

Покормежные письма на право жительства и работы в Москве, выданные Московской домовой конторой княгини Л. Меньшиковой ее крепостным Терентию Григорьеву и Тимофею Тимофееву... Составленное в ноябре 1895 года отношение митрополита Новгородского и Петербургского Григория петербургскому губернатору с просьбой принять меры против брака православной крестьянки села Заболотье Новоладожского уезда Анны Никитиной с крестьянином — старообрядцем деревни Верховин Конец Василием Ивановым. И рядом письма, написанные два-три года назад, записи курсов лекций, читанных перед войной, список наличного состава эшелона, уходящего из Москвы в Ташкент в октябре 1941 года, дневники и воспоминания недавних лет, фотографии наших современников, судьбы, во многих чертах совпадающие с собственной вашей судьбой.

— И все-таки: что же такое архив?

— Можно ответить и так: это груды тетрадок — нередко без начала и конца, сотни листов и листочков с заметками, которые неизвестно куда относятся и при так называемом первичном разборе всякий раз заново вызывают у архивиста малодушную и отчаянную мысль о полной невозможности установить когда-либо их назначение и последовательность. Это сотни писем, многие среди которых без конвертов и без дат, а вместо подписи в них одна буковка или домашнее, птичье какое-то имя, из которого нет никакого вероятия восстановить полное имя писавшей...

Необходимо понять, что за документ перед нами — письмо ли (а если письмо, то беловое ли, отправленное адресату, черновик ли, оставшийся у автора, или отпуск — копия исходящего письма, оставшаяся у отправителя или в архиве учреждения), статья ли, очерк, речь, произнесенная на заседании, отзыв на чью-либо работу, отрывок из мемуаров... Границы между этими жанрами совсем не так очевидны, когда разнородные материалы какого-либо архива лежат перед архивистом в первозданном своем виде. Надо понять далее,





о каких событиях или людях идет речь в документе и главное — кто и когда его написал? Нужно понять, кроме прочего, действительно ли один архив перед нами или это части личных архивов нескольких людей, волею обстоятельств сошедшиеся в одном месте.

Весьма близкое к реальности и очень выразительное описание неразобранного архива и работы архивиста дано в романе В. Каверина «Исполнение желаний». Там молодой студент-историк Трубачевский ходит в дом профессора Бауэра разбирать архив некоего декабриста Охотникова. «Первое время он совершенно рас-

терялся среди оборванных на полуслове бумаг, среди писем, перепутанных со счетами из книжной лавки, среди случайных набросков, которые найдутся в любом личном архиве, а в этом были особенно разрознены и бессвязны. Деловые бумаги были перемешаны с черновиками каких-то статей, страницы из дневника, заметки, письма были так бесконечно далеки друг от друга, что, если бы они не были написаны тою же рукой, нельзя было бы вообразить, что они принадлежат одному человеку.

В таком-то рассыпанном виде предстала перед Трубачевским жизнь человека, которого он изучал: как будто шахматная партия была прервана ударом по доске, фигуры смещены и сбиты — по случайно оставшимся ходам нужно было восстановить положение.

Перепутаны были не только бумаги, но и годы: детство шло вслед за отрочеством, письма женщин (которые Трубачевский читал, разумеется, с особенным интересом) лежали между страницами, исписанными старательной детской рукой.

Хорошо было Бауэру, который так знал почерк Охотникова, что мог с одного взгляда определить, к какому времени относится автограф! Он как бы нюхал бумагу и смотрел на нее не в частности, а вообще, на всю сразу и, по своему обыкновению, через кулак, который приставлял к правому глазу, а потом, не задумываясь, говорил:

— Ну-с, между девятнадцатым и двадцать первым.

И через час находился десяток доводов, неопровержимо доказывавших, что автограф относится именно к этому времени, ни раньше, ни позже. И бумаги девятнадцатого года отправлялись в папку девятнадцатого, а двадцать первого — в папку двадцать первого».

Трудно датировать документ, но ведь надо еще прежде определить, чей же это автограф. Подписи сплошь и рядом нет, а если на полях чьей-то рукой поставлена фамилия, то это не всегда решает дело.

Ни один исследователь не имеет, например, столько хлопот с однофамильцами, сколько архивист. Исследователь работает главным образом по печатным источникам, строго соотнесенным обычно с одним каким-то лицом, или по архивным документам, уже разобранным, уложенным в обложки, на которых указана фамилия, имя и отчество автора, а если это письмо — то

и адресата. Между тем к архивисту документ попадает еще не опознанным; если при нем есть фамилия — это большая удача, но надо еще понять, о каком, скажем, Булгакове идет речь. И Михаил Афанасьевич, и Валентин Федорович, и Сергей Николаевич — все они были современниками, и имена их могут пересекаться во многих фондах XX века; да и Федор Ильич, автор «Художественной энциклопедии» и биографий художников, хотя и был старшим современником своих однофамильцев (родился в 1852 году, а умер в 1908-м), должен на всякий случай быть взят на заметку.

Архивист осторожен и недоверчив; увидев знакомую фамилию, он не спешит приписать ее лицу наиболее известному. В этом смысле (и в очень многих других, что мы увидим далее) архивная работа, как, может быть, никакая другая, противостоит бытовому сознанию, всегда безмятежно уверенному, что сведения, которыми оно владеет, — исчерпывающи. Потому человек, не выходящий за пределы бытового сознания, всегда рассчитывает на легкое взаимопонимание в беседе, на обязательную идентификацию каких-либо затронутых в беседе фактов с одними и теми же явлениями. Он бессознательно уверен, что собеседник его располагает точь-в-точь тем же джентльменским набором знаний, что и он сам. Напомним в связи с этим ту сцену из «Театрального романа», принадлежащего перу одного из вышеупомянутых однофамильцев, где редактор, прочитавши роман молодого писателя, говорит ему: «Толстому подражаете», а самолюбивый автор, рассердясь, специально разрушает эту установку на однозначную идентификацию: «Кому именно из Толстых? — спросил я. — Их было много... Алексею ли Константиновичу, известному писателю, Петру ли Андреевичу, поймавшему за границей царевича Алексея, нумизмату ли Ивану Ивановичу или Льву Николаевичу?»

Вот этот самый ряд вопросов и поставит перед собой архивист, если в разбираемых им бумагах мелькнет вдруг имя — «Толстой», не сразу ясное из контекста. И дело тут не только в объеме знаний (хотя недаром редактор тут же осведомился у молодого автора — «Вы где учились?»), а еще и в принципиальной неиерархичности и непредубежденности подхода к новому факту. В отличие от исследователя у архивиста обычно нет сложившейся концепции относительно того историческо-

го или литературного явления, материалом для изучения которого послужат описываемые им документы. Он не испытывает того непреоборимого желания приписать неизвестную статью Н. Чернышевскому или Н. Добролюбову, которое породило столько неверных атрибуций. Если у него и есть ярко выраженные предпочтения одного деятеля другому, то опыт показывает, что это гораздо меньше влияет на его взаимоотношения с документом, чем у исследователя, мало и недостаточно профессионально работавшего в архивах. (Правда, люди — всего лишь люди, и время от времени архивист появляется перед столом своего коллеги с двумя листочками в руках; с тщательно запрятанной тоской он просит сравнить — похож ли почерк? Обычно это означает последний предел безысходных поисков и сличений, тот предел, когда, ясно видя несходство почерка неизвестного с известным, человек возгорается бессмысленной надеждой на то, что зрение ему изменяет. При этом он еще старательно нагоняет на лицо выражение полной незаинтересованности: похож так похож, нет так нет. Однако разоблачение не замедлит; коллега холодно или с беспощадной иронией осведомится: «Что — нужно, чтоб похож был?» И, добросовестно вглядевшись все-таки в поражающие несходством почерки, отгонит беднягу от своего стола.)

Архивист смотрит прежде всего на признаки объективные — на почерк, дату, место отправления и назначения. Он должен понять, что именно перед ним — черновой автограф (обычно не оставляющий сомнения в авторстве) или лишенный помарок список, который мог быть сделан кем-то с чужого текста. Он не дает себе увлечься; он знает — ошибка подстерегает его на каждом шагу. Вот, казалось бы, известно — инициалы и фамилия, и род занятий. А. И. Мильчаков, литератор, двадцатые годы нашего века — это Александр Иванович Мильчаков, член редколлегии журнала «Молодая гвардия»; но если дать волю неясному сомнению, то далее выяснится, что это — Алексей Иванович Мильчаков, подвизавшийся на литературном поприще в те же самые годы, только не в Москве, а в Вятке.

— Итак, девиз архивиста — сомневайся во всем?

— Да, скептицизм и некоторая замедленность эмоциональной реакции едва ли не необходимые для него

свойства. Увидев в рукописном альбоме подпись под стихотворением «Лермонтов» или «Некрасов», архивист не вскрикивает от радостного изумления, а начинает методически листать собрание сочинений — сначала предполагаемого автора, а затем и его современников....

Тогда нередко выясняется, что и Лермонтов не Лермонтов, и Некрасов не Некрасов...

Специфика работы такова, что чем ближе архивист к подлинному открытию, тем он осторожнее и придирчивее к своей гипотезе. И когда среди листков разбираемого им архива мелькнет вдруг, сжимая сердце, прославленный почерк — архивист молчит, набравшись терпения, пока не удостоверится в бесспорности своей находки. Он очень хорошо знает, что экспансивное восклицание «Я такого-то нашел!» исторгнет у коллег не восторженные крики, а скорее всего приступ тихого веселья и кроткий вопрос: «А Пушкина там нет у тебя?» Этот смех не что иное, как воспоминание каждого из них о том, сколько его собственных скорых открытий (урожай которых особенно велик у начинающих архивистов) рассыпалось в прах на первых же этапах проверки.





...С именами-отчествами еще хуже, чем с фамилиями. Есть среди них такие, которые пользуются единодушной любовью архивистов. Альфонс Леонович, например. Если встретилось письмо с таким обращением, долго гадать не надо — девяносто девять и девяносто девять сотых за то, что это письмо к Шанявскому, основателю Московского городского университета, получившего впоследствии его имя. Тертий Иванович, Павел Елисеевич, Цезарь Антонович, Маврикий Осипович, Аким Карпович, Бонифаций Михайлович — замечательные, превосходно выбранные родителями имена. И имя Писемского — Алексей Феофилактович, казавшееся смешным героине «Ионыча», — звучит музыкой для архивиста, из-за своей необычности сильно понижая возможность ошибочной атрибуции документа.

И тихую ярость вызывают вполне благозвучные, безобидные, на взгляд непосвященного, имена — Иван Иванович, Николай Николаевич. Кто же этот Иван Иванович? Лазаревский, издававший в 1910-е годы роскошный журнал «Среди коллекционеров», посвященный искусству? Или Толстой, вице-президент Академии художеств, читавший там лекции по истории эллинской религии (упоминания о них нередко попадаются в мемуарах современников), а в 1905—1906 годах — министр народного просвещения, оставивший свои воспоминания об этом времени (машинопись с авторской правкой и предисловием-автографом, 234 листа, переплет кожаный с золотым тиснением на корешке...)? Или же историк русской литературы и критики Иванов?.. Архитектор Бони? Совладелец издательства «Посредник» Горбунов-Посадов? Филолог и музыковед Соллертинский или поэт Коневской (Ореус)? Профессор Янжул, экономист и статистик, один из редакторов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона? Редактор-издатель «Восточного обозрения» Попов? Или Иван Иванович Шитц, преподаватель в известной Москве десятых годов нашего века гимназии Варвары Васильевны Потоцкой (помещавшейся в том самом доме на нынешней Пушкинской площади, что находится прямо за кинотеатром «Россия»)?

Ничуть не менее сомнений и трудностей приносит письмо, обращенное к Николаю Николаевичу. Если это документ первых десятилетий нашего века (а даль-

ше мы поясним, почему с веком нынешним архивисту иметь дело во много раз труднее, чем с веком минувшим), то адресатами его могли быть и литераторы — Иорданский, Ливкин, Ляшко или Захаров-Мэнский, и профессор русской литературы Фатов, и библиографы Столов или Орлов (он же председатель Библиологического общества в Москве). Или художник и театральный декоратор Сапунов, или Лямин — в десятые годы совладелец маленького издательства «Московский Меркурий», а в двадцатые — ученый секретарь подсекции теоретической поэтики в Государственной академии художественных наук, один из первых московских друзей Булгакова, читавшего у него на квартире в Савельевском переулке и «Белую гвардию», и первую редакцию романа «Мастер и Маргарита», называвшуюся сначала «Копыто инженера», потом — «Консультант с копытом»... Это может быть и Баженов, доктор-психиатр, член Общества любителей российской словесности, активный участник Литературно-художественного кружка, собиравшего, по воспоминаниям современников, «к себе почти всю выдающуюся интеллигенцию Москвы». Или Николай Николаевич Врангель, искусствовед, ученый секретарь Общества защиты и охранения в России памятников искусства и старины, один из основных сотрудников известного иллюстрированного журнала «Старые годы» и устроитель замечательной выставки русского портрета (1910 г.), в годы первой мировой войны самоотверженно руководивший санитарным поездом, умерший в 1915 году в Варшаве 34 лет от роду и оставивший замечательные дневники, полные боли и негодования по поводу увиденного на фронте и в тылу.

Еще чаще архивисг встречается с неразборчивой подписью — первый инициал, а за ним две-три буквы, и вроде одни согласные, гласных вообще не наблюдается: И... Сстр... Стп... Спр..? И если он обмолвится вслух о своих затруднениях, то с соседнего стола ему ответят: «Тебе легче. У меня и первая буква не читается» А с другого, может быть, отзовутся: «А мне-то повезло! Бумага с монограммой!» (Это значит, на почтовой бумаге вытиснены инициалы владельца — например, изящнейшие «P. V.» — Полина Виардо.)

И точно — можно много часов вглядываться в подпись и так и не расплести хитроумных завитков, хотя архивист с многолетним опытом мог бы сказать о себе сло-

вами одного из булгаковских героев: «Я любой почерк разбираю, как печатное».

...В 1934 году поступила в Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) Марфа Ивановна Малова. В 1941-м добровольно ушла на фронт медсестрой и после войны снова вернулась к архивам. В ней редкостно сочетались все необходимые для архивиста качества: уменье читать почерки, память на документы, лежащие в разных фондах, — чего долго не заменят никакие каталоги, — широкий кругозор и энергия, особенно важные в собирании (выражаясь профессионально — комплектовании) материалов, уменье понять интересы разных исследователей — и живое желание помочь каждому. Много лет, почти до самой смерти (1978 г.) Марфа Ивановна была главным хранителем Рукописного отдела ИРЛИ (в каждом архиве есть такая, особенно важная должность), и имя ее, как и имя Николая Васильевича Измайлова, четверть века руководившего отделом, неразрывно связано с историей отечественного архивного дела.

Если позволительно так выразиться, есть архивисты хранилища, а есть архивисты читального зала. Среди них тоже есть свои «идеальные типы», совместившие редкие качества — способность к быстрой переработке архивной информации огромного объема, источниковедческую интуицию, помогающую угадать, где именно следует искать нужный документ, в какой город, в какой архив за ним ехать, и широкую эрудицию историка. Таким архивистом читального зала можно было бы назвать Натана Яковлевича Эйдельмана. Его путь определился тогда, когда, проработав шесть лет в Московском областном краеведческом музее в Истре, он натолкнулся на неизвестные прежде рукописные материалы о герценовском «Колоколе». От Герцена разыскания повели в архивы декабристов, к Пушкину, затем далее в глубь русской истории — в XVIII век. Н. Эйдельман — автор ряда замечательных, неизменно основанных на архивных находках и открытиях, работ о Герцене, о Пушкине, о декабристе М. Лунине, о Сергее Муравьеве-Апостоле.

— Но каким же образом формируется то, что становится в конце концов архивом?

— В одном недавнем стихотворении приведен до-

вольно точный реестр вещественных следов быстротекущей нашей жизни:

Остаются книги, фотографии,
Стоптанные туфли, пиджаки,
На работе — автобиографии,
В письменном столе — черновики.

Итак, книги, фотографии, черновики... Это все части личного архива, то есть того, что отложилось, по архивной терминологии, в собственном доме фондообразователя (напомним снова этот не очень-то благозвучный термин) в течение его жизни и деятельности. «На работе —





автобиографии» — вот они-то уже не являются частью личного архива. Написанные для какого-либо учреждения, они, даже попав вместе с архивом этого учреждения в стены государственного архивохранилища, не будут переложены в личный архив писавшего их, а так и останутся в составе фонда учреждения.

(«Туфли» и «пиджаки» — это уже «не по тому ведомству», это дело музеев — в том случае, разумеется, если жизненное дело их владельца окажется в конце концов

столь значительным, что заставит потомков, а может быть, даже и современников, задуматься о сохранении личных ее или его вещей.)

Да, архив, несомненно, есть у каждого — хуже или лучше сохраняемый, но есть. В ящиках вашего письменного стола или в шкатулках, спрятанных в шкафу, уже с первых лет вашей жизни начинает составляться основной корпус того, что называют личным или семейным архивом. Это биографические документы (начиная со свидетельства о рождении), это семейные альбомы, это письма, полученные от родных и знакомых (если у вас выработалась привычка сохранять эти письма). Даже книги с пометками, сделанными вами в разные годы жизни. А фотографии, подаренные школьными еще друзьями? Возможно, что уже сейчас некоторые из них с гордостью демонстрируются гостям — с соответствующими комментариями. И вполне вероятно, что есть среди них одна или две таких, которые через несколько десятков лет любой государственный архив с готовностью приобретет — у ваших детей или у вас самих, если вам повезет...

Итак, архив есть у каждого человека, но, как правило, люди сами не знают этого и потому с небрежностью относятся к бумажкам, захламляющим их дом и затрудняющим жизнь. В последние годы все решительнее укореняется привычка освобождаться от много лет сохранявшихся бумаг — писем, записных книжек, бабушкиных девичьих еще дневников — при генеральных уборках и, уж во всяком случае, при переезде на новую квартиру.

Между тем на бумаги эти стоило бы взглянуть по-другому. Свидетели вашей частной жизни, они вместе с тем свидетели вашего времени, и именно от вас, от вашего отношения к личному своему архиву зависит степень полноты, с которой войдет это время в историю.

Но дело не только в заботе о будущих историках. Человек нуждается еще и в собственной истории, в следах своей, пусть непритязательной, биографии. Это нужно прежде всего ему самому, а потом и детям его, и внукам. Но не всякий и не всегда в урочное время догадывается об этом.

Начнем с примеров простейших, с нашего обихода, хотя бы с любительских фотографий, рассмотренных с не совсем обиходной точки зрения.

Идея преемственности, сохранения единства личности на всех этапах ее развития, тождества ее самой себе не только знакома каждому, но укоренена в нас (но не всеми осознана!). Мы ежедневно сталкиваемся с ее проявлениями. Не только смерть — необратимая утрата; разве не утрачиваем мы нечто ежедневно, ежечасно, ежегодно? Где та толстенькая с заплывшими глазами и крохотным носиком годовалая девочка, чье тельце еще, кажется, чувствуют ваши руки? Ведь ее, можно сказать, безжалостно вырвали из ваших рук, «подменив» с течением лет этой вот длинноногой девицей, которая, потряхивая кудрями, бегает по вашей квартире. Но что же заставляет вас мириться с потерей? Почему вы не рыдаете, не заламываете рук, а смотрите на эту другую с той же нежностью? Потому что даже родительское чувство питается не только врожденным инстинктом, но идеей преемственности. Вы знаете — а вернее, верите, — что есть преемственная связь между этой долгоногой и той — крохотной, пухленькой, и «утешаетесь» этим.

Но родительское чувство не нуждается в подкреплении его фотографиями. Фотографируют родители вроде бы для собственного удовольствия. Нуждаются же в этих фотографиях — дети.

Чем раньше человек может *вспомнить* себя, чем живей в его памяти детство и последующие годы, тем больше у него возможностей для осознания самотождественности, а значит, для более полной реализации своей личности (недаром многие великие люди помнили себя с очень раннего возраста).

Поэтому люди, которые не забывают год за годом фотографировать своего ребенка, а потом берегут эти фотографии, которые сохраняют первые его собственноручные письма, первые школьные работы и т. п., не просто находятся во власти слепого родительского чувства. Чаще всего сами того не подозревая, а иногда отдавая себе ясный отчет, они делают важную и невосполнимую впоследствии работу — облегчают сыну своему или дочери путь к самим себе и помогают формированию их исторического сознания.

Но фотографии эти важны и ценны не только для тех, кто на них изображен. Любительские снимки с самым заурядным сюжетом имеют смысл и назначение более общее, чем это принято считать.

В этом смысле точка зрения архивиста и историка может оказаться — в практическом отношении — ближе к самому обыденному сознанию, чем к возвышенному миропониманию поэта.

У Д. Самойлова есть стихотворение о фотографе-любителе, озабоченном запечатлением самого себя — во всех видах, в разных случаях жизни. Оценка поэта сурова, хотя и не лишена сострадательности:

Он пишет, бедный человек,
Свою историю простую,
Без замысла, почти впустук
Он запечатлевает век.

Если воспользоваться — не совсем законно — отдельными строчками стихотворения как некими «прозаическими» утверждениями, то неминуем спор архивиста с поэтом. Архивист и историк не посетуют, что век запечатлевался любителем «без замысла». Таких фотографий «без замысла» непременно должно быть очень много — для того, чтобы стало вероятным, что хотя бы самая малая их часть попадет когда-нибудь из семейных альбомов в архивохранилища и сможет послужить восстановлению самых разных черт прошедшей эпохи, в том числе мелких подробностей зрительного ее облика.

Никакие словесные описания не заменят нашему потомку того, что увидит он на любительской фотографии. Ему то́ именно бросится в глаза, что сегодня нашему глазу совсем незаметно, что кажется заурядным, «без замысла» выбранным фоном — тот обиход современной жизни, по которому взгляд современника скользит не задерживаясь.

Вернемся к началу стихотворения — к незамысловатым сюжетам фотографий любителя:

Фотографирует себя
С девицей, с другом и соседом,
С гармоникой, с велосипедом,
За ужином и за обедом,
Себя — за праздничным столом,
Себя — по окончаньи школы...

Гармоника, велосипед... Ведь это как раз те самые предметы, которые у ж е с е й ч а с на наших глазах становятся вполне явственной приметой совершенно опре-

деленного «места, времени и действия», они с несомненностью запечатлевают век и потому уже не впустую присутствуют на фотографиях.

И даже традиция фотографирования «за праздничным столом» — черта сугубо мещанского, казалось бы, обихода — не безразлична для историка. Вот перед нами любительский снимок 1913 года — частная семья за праздничным столом. Среди гостей совсем молодой человек, ставший впоследствии одним из известнейших наших филологов — Б. Томашевский. Да, историко-литературная ценность снимка от этого обстоятельства увеличилась, он приобрел особую важность для биографов выдающегося ученого. Но и кроме этого специального аспекта, снимок имеет более общий исторический интерес. Он внятно и выразительно рассказывает о своем времени: не только одежда — сами жесты, позы сидящих за праздничным столом, само, так сказать, их «построение» перед объективом — все связано с этим именно временем, с этим десятилетием, все отлично от десятилетий предыдущих и последующих. И еще одно немаловажное обстоятельство, говорящее в пользу неуважаемого любительского жанра — молодые люди, собравшиеся в тот год за праздничным столом, ведь еще не знали, кто именно из них своим присутствием на снимке повысит его ценность для потомков. Фотография, сделанная «без замысла», ради собственного удовольствия, с течением времени осмыслилась. Но если даже ни одно лицо не выделится на ней впоследствии крупным планом, все равно она останется свидетельством времени, законной частью массовых источников по истории общества, создаваемых им самим ежечасно.

Фотографии напоминают слои разных времен, обнаруживающиеся на высоких обрывах и так внятно рассказывающие геологу о сменившихся эпохах. Проборы, усы, воротнички отложные и стоячие, покрой сюртуков, прически и шляпы женщин. И лица, лица... И надписи, запечатлевшие и принятые образцы письменного общения, и свойственные времени формы отношений между людьми. На фотографии молодой человек в форме инженера-путейца: «Дорогому, симпатичнейшему и добрейшему «дядьке» — Леониду Львовичу на добрую и по возможности долгую память от горячо любящего «племянника» — недостойного Вани С. Никогда не забуду

тех приятных препровождений времени, когда вы в тяжелую годину общих для нас испытаний горячо откликнулись на мое горе и радушно принимали к себе как родного в чужом для нас городе и как мы развеяли тогда за стаканом чаю тяжелую тоску, сковывающую все наши действия. Одно ваше теплое слово или ласковый взгляд тотчас же развеивал все горькие сомнения и давал бодрость для дальнейшей жизни... 14 января 1916 года».

«Дочери Майке для сведения. 14 сентября 1934 года» — на фотографии еще более молодой человек, красноармеец-дальневосточник. Еще один снимок: две девочки в неуклюжих клетчатых платьях оперлись на этажерку с цветком. Здесь столкнулись два времени — реквизит провинциальной фотографии отстает на несколько десятилетий от времени, когда сделан снимок. На обороте надпись «Нюра и Дуся снимались в 1928 году апреля 16 дня, воспоминали о далеком прошлом».

И тот же год: на пороге бревенчатого дома, срубленного из отличного соснового строевого леса, коротко стриженные девушки в полосатых физкультурных блузках, мужчины в кожаных френчах и куртках или в майках. «Первая Всекарельская спартакиада. Команда Кондопожского района». Другой снимок — на нем одни женщины. Это работницы московского детсада со своей молодой заведующей в середине. Казалось бы, все другое — и возраст, и занятия, и повадка видна иная, но есть что-то общее в самом выражении лиц, что сближает эти сделанные в разных местах снимки, ставя на них печать одного времени.

Эманация своего времени, излучаемая самыми заурядными фотодокументами, велика; с особенной силой эта «энергия» освобождается, когда такой документ попадает в контекст иного времени. Этот эффект широко используется в современном кинематографе (безмолвно сменяющиеся в укрупненном кадре любительские фотографии, развешанные по стенам в фильмах О. Иоселиани). Еще раньше он был открыт литературой.

Кто держал когда-нибудь в руках первое издание повести М. Зощенко «М. П. Синягин (воспоминания о Мишеле Синягине)», вышедшее в издательстве писателей в Ленинграде в 1931 году, помнит открывавший книгу портрет молодого человека — он сидит, облокотясь на спинку дивана, с книжкой какого-то журнала

в руке, в позе одновременно и вольной и напряженной. В портрете серьезное соседствует с неуловимо комическим — в проборе ли дело, проходящем ровно посредине и придающем узкому, породистому лицу отпечаток незначительности, во взгляде ли, полном слегка деланной меланхолии, а может быть, в некоторой манерности и стилизованности позы. Под портретом подпись — «М. П. Синягин, 1916 г.», но это не рисованный портрет, а фотография, — точно такая же, как и остальные иллюстрации в книге: «Симочка М. в год окончания гимназии, 1916 г.», «Анна Аркадьевна Синягина, 1908 г.», «Изабелла Ефремовна Крюкова, 1924 г.». О происхождении некоторых из этих фотографий рассказала нам вдова писателя Вера Владимировна Зощенко. Оказывается, на первой из них — лицо реальное, Евгений Антонович Пуст, у которого она снимала летом 1918 года дачу в Стрельне; хозяин дачи слегка ухаживал за молодой женщиной и подарил ей свою карточку: «В 1930 году Михаил Михайлович увидел у меня в альбоме эту фотографию и решил, что она очень подходит для его книги...» А Симочка М. — это Маруся Земцева, соученица Веры Владимировны по петербургской гимназии («Она потом обижалась, обнаружив свою фотографию в книге»).

Почему же такое двойственное впечатление производит портрет молодого человека, помещенный в начале книги? В альбоме среди фотографий 1910-х годов он был бы «у себя дома»; помещенный в контекст книги — в тридцатые годы, — он резко обнаружил эту прикрепленность к своему времени, несоответствие иной эпохе, стиль стал стилизованностью и приобрел возможность пародийного истолкования, подтвержденного текстом книги. Но, став частью книги, фотографии не подчинились только новому их осмыслению; они не утратили и своей «подлинной» окраски, оказавшейся также необходимой автору. Появился некий мерцающий эффект: «живые люди» на фотографиях безмолвно подчеркивали серьезную ноту авторского голоса. Повесть, сильнее, чем остальные произведения Зощенко, ориентированная на пореволюционную «биографию» целого социального слоя, оказалась как бы продокументированной: лица на снимках глянули на читателя в упор, как реальные безымянные «двойники» героев, разделившие их историческую судьбу. А стилизованность их поз и костюмов

попадала в унисон с не менее сильно звучавшей в повести нотой иронической.

...Но будем рассматривать нашу «без замысла» подобранную коллекцию дальше. Вот предвоенные фотографии — учительская горного техникума в маленьком городке Северного Казахстана. Карта Европы на стене, свежая газета, в которую с такой истовостью вглядывается молодой преподаватель.

Лето 1940 года, пионеры и комсомольцы Артека — отличники и активисты — на экскурсии в Алупке. Фотография черно-белая, но яркое крымское солнце заливает каменного льва на дворцовой лестнице, белоснежные панамы и блузки, одинаковые у девушек и ребят. На первый план вылезают длинные ноги и руки пятнадцатилетних мальчиков. Глаз невозможно оторвать от этих голоногих, долговязых, залитых солнцем, на которых с почти осязательной неотвратимостью наползает лето 1941 года.

31 декабря 1940 года. Московская квартира, освещенная в праздничный вечер верхним светом и огнями елки. Четверо детей — от пятнадцатилетнего до трехлетней — и мать, которая через десять месяцев поедет с ними из Москвы в товарном эшелоне. Фотографии первых военных месяцев... первых послевоенных лет. Высокие «солдатские» плечи на платьях женщин, пиджаки с чужого плеча на мальчиках, мужчины в сапогах и галифе.

Нет, многократно осмеянные каменные лица, вытаращенные глаза и застывшие позы на провинциальных фотографиях не только смешны. Хорошо, что существует это странное чувство, побуждающее самых разных людей запечатлевать свою историю, а с нею и само время. И мы беремся утверждать, что так широко распространившееся сейчас и уже очень высокого уровня достигнувшее искусство художественной фотографии не сможет заменить для истории общества безыскусственного «массового» фотографирования — без замысла, без отбора, без видимой цели. Сама случайность выбора объекта оказывается здесь принципиально важной — потому что самый осмысленный отбор не может предугадать, какие именно стороны сегодняшней нашей жизни, какие ее подробности станут интересны будущему историку.

Получается, что мы как будто не вполне хозяева собственным своим фотографиям, хранящимся в столе

бумагам?.. Во всяком случае, это предмет для размышления. Попробуйте, например, ответить: кому принадлежат адресованные вам письма? Вопрос совсем не простой, и разные люди в разные времена отвечали на него по-разному.

А. Чехов — тщательнейшим образом хранил письма всех лиц, к нему писавших. После смерти его все эти письма обнаружены были в архиве писателя в образцовом порядке. Этого нельзя сказать, к сожалению, о его корреспондентах — почти все они хранили письма Чехова с гораздо меньшим тщанием. И потому в переписке Чехова с братом Александром, совершенно замечательной, как известно, богатством ее содержания, не хватает не менее чем ста писем писателя.

Среди писем, сохраненных Чеховым, два письма с Сахалина от лица совершенно безвестного — ссыльнокаторжного Максима Хоменко, с которым писатель познакомился во время поездки на Сахалин. Из этих полуграмотных, но искренним благодарным чувством продиктованных писем мы узнаем совсем не безразличные для биографии Чехова и для любого его читателя подробности: «Телка, которою Вы изволили меня наградить в 90-м году, растет, в настоящее время стоющая ценою сорок рублей серебром, в которой сосредотачиваются все мои надежды. Смотря на это животное, ежедневно благодарю Вашей милости, и вечно буду молиться богу и благодарить Вас, Ваше высокоблагородие, за такую великую для меня несчастного человека сделанную Вами награду».

И. Гончаров — после смерти писателя его душеприказчик М. Стасюлевич согласно с волей покойного возвратил все хранившиеся в его архиве письма их авторам. Часть этих писем впоследствии была навсегда утрачена, что вполне соответствовало желаниям Гончарова, за два с лишним года до смерти напечатавшего статью «Нарушение воли», в которой писал: «Завещаю и прошу прямых и не прямых моих наследников и всех корреспондентов и корреспонденток, также издателей журналов и сборников всего старого и прошлого не печатать *ничего,* что я не печатал или на что не передал права издания и что не напечатаю при жизни сам, конечно, между прочим, и писем. Пусть письма мои останутся собственностью тех, кому они писаны, и не переходят в другие руки, а потом предадутся уничтоже-

нию... в письмах моих нет ничего дельного, серьезного, глубокого...»

И. Левитан — незадолго до смерти поручил своему брату сжечь все хранившиеся у него письма, что тот и исполнил на глазах умиравшего. Сгорело более ста писем А. Чехова, долгие годы связанного с художником самой тесной дружбой, письма В. Серова, которых и вообще-то сохранилось крайне мало, письма К. Коровина.

Потомки — не судьи. Мы не вправе выносить приговоры поступкам этих людей, быть может, не вправе даже их оценивать. Но можно попробовать понять систему их рассуждений, моральные стимулы, управлявшие этими столь разными поступками.

А. Куприн за год или два до смерти составил завещание, где просил среди прочего:

«4. Речей надо мною не говорить и статей или воспоминаний обо мне не писать.

5. Если у кого есть мои письма и портреты — сжечь их».

Как видим, свои письма ко всем адресатам он считает личной своей собственностью и желает предать уничтожению.

И. Левитан рассматривал *полученные* им письма как личную свою собственность, которой он, а не авторы писем, волен распорядиться как угодно. Сомнений в этом его праве не было ни у него, ни у его брата. Брат не просто выполнял скрепя сердце просьбу умирающего — письмо, написанное им уже после смерти художника М. П. Чеховой, говорит о том, что он выполнял свою печальную миссию истово, в полном сознании справедливости такого решения: «Пусть ничего не ждут. Судачить по поводу уничтоженной переписки не придется ни устно, ни печатно. Увы и ах! ...Сожжены письма, как я уже и раньше передавал Вам, мною еще при жизни его по его приказу и на его глазах.

Сделано это мною охотно, так как я мысленно вполне одобрил его решение и сам поступил бы так же, даже и теперь».

Таких примеров великое множество.

Одним из самых близких друзей поэта, прозаика и историографа Н. Карамзина был А. Петров; вместе они редактировали первый русский журнал для детей «Детское чтение», издававшийся Н. Новиковым. Письма Н. Карамзина к А. Петрову были бы ценны не только

для биографов писателя, но и для истории нашей литературы — именно там, по-видимому, впервые проявились черты новой — карамзинской прозы.

После смерти А. Петрова Н. Карамзин пытался выручить письма через своего приятеля, поэта и министра двора И. Дмитриева и 21 марта 1793 года писал ему: «Мне очень хочется иметь все бумаги покойного моего друга. Если хочешь обязать меня, то попроси их у брата его Ивана Андреевича. Надеюсь, что он сделает для меня это великое одолжение, а если не сделает, то я прошу его возвратить мне хотя одни письма мои, которые ни для кого не могут быть интересны». 4 мая того же года Н. Карамзин благодарит И. Дмитриева за исполнение его просьбы и далее пишет: «Я доволен, что письма мои сожжены, но для чего г. Петров не хотел отдать их мне, не понимаю. Жаль мне, что я заставил тебя ехать к человеку не весьма учтивому; но ты очень обязал меня». За кротким тоном письма несомненное глубокое огорчение писателя. Однако поступок брата покойного оценен, как видим, всего лишь как неучтивый. Само же право его распорядиться подобным образом письмами, адресованными покойному брату, сомнению не подвергнуто.

Оставим пока примеры эти без комментариев. Обратимся вновь к личному вашему архиву. Сохраняете ли вы полученные вами письма или, прочитав, рвете и выбрасываете? Письма от родителей — из деревни, из маленького городка, где вы родились? Письма от друзей? Сугубо частные письма, говорите вы, лишенные интереса общего? История многократно показала, как факты и документы, казавшиеся частными, приобретали с течением времени значение общее. Судить не нам, современникам. Сохраненное вами письмо приятеля может впоследствии оказаться единственным письменным свидетельством важного, но плохо зафиксированного события. Во всем этом нет нимало преувеличения — именно таким непредугадываемым заранее путем частное письмо становится ценным историческим источником.

А сугубо личная, казалось бы, переписка ваших родителей, не уничтоженная ими когда-то и оставшаяся теперь в ваших руках? Времена их молодости — 1920-е, 1930-е годы... А письма дедушек и бабушек? Конец прошлого века, начало нынешнего... Архивистам нередко приходится слышать, что еще совсем недавно в

таком-то доме лежали бумаги людей 1840-х, 1860-х годов, но со смертью их последнего владельца были уничтожены, как ненужный сор. Архивный опыт убеждает, к сожалению, что в огромном большинстве случаев люди не представляют себе ценности хранящихся у них в доме старинных документов.

— А как быть с перепиской близких людей?

— Вам кажется, конечно, что она имеет чисто семейную ценность? Но понятие это весьма относительно. Искажение представления о ценности бумаг человека, с которым связан дружескими или родственными узами, имеет достаточно давнюю традицию. Ближайший московский друг Пушкина Павел Нащокин писал после смерти поэта М. Погодину: «Память Пушкина мне дорога не по знаменитости его в литературном мире, а по тесной дружбе, которая нас связывала, и потому письма его, писанные ко мне с небрежностью, но со всей откровенностью дружбы, драгоценны мне, а в литературном отношении ценности никакой не имеют, но еще могут служить памяти его укоризною».

Приводя эти строки, Н. Эйдельман комментирует: «Нащокин, дорожа дружбой ушедших лет, полагал, что его переписка с Пушкиным касается лишь их обоих. Другим, если они любопытствовали, он был готов показать, почитать письма, но все же их дело сторона... И вот случалось, что в нащокинском доме пушкинскими письмами обертывались свечи!»

Пусть письма, хранящиеся в вашем доме, связаны с именами совсем иными, — вопросы возникают те же. Интимный характер переписки заставляет вас сомневаться в том, стоит ли ее сохранять, удерживает от передачи в архив — вы боитесь, не будет ли это дурно по отношению к памяти дорогих вам людей.

Быть может, вы иначе бы на это взглянули, если бы осознали в полной мере то обстоятельство, что в каждом отечественном архивохранилище лежат десятки тысяч писем в равной степени интимных и что на таком фоне любая интимность становится качеством гораздо более нейтральным, чем это представляет себе каждый владелец таких документов. Человеку, достаточно твердо убежденному в том факте, что жизнь идет и история продолжается, необходимо умение отрешиться от сегодняшней своей мерки и понять, что в архиве документ начинает новую свою жизнь, рассчитанную на десяти-

летия и столетия... То, что сегодня кажется вам столь существенным, со временем совершенно поменяет свое качество. Сегодня мы не знаем степени ценности переписки современников — завтра она определится. Личная окраска письма, столь яркая сегодня, в какой-то степени выцветет, внимание исследователей не на ней задержится. В научный оборот любые документы входят обычно лишь фактической своей частью. Взаимные счеты и пересуды, слишком пылкие и, возможно, несправедливые оценки далеких и близких — все это от-





ступит в прошлое, охладится, утратит сегодняшнюю болезненную остроту.

Но прежде чем оказаться в руках исследователей, документ должен быть обработан архивистом. Даже если перед нами не письмо, а справка или ходатайство за некоего Иванова, подписанное, скажем, должностным лицом Петровым, на обложку все равно должны попасть инициалы и фамилия этого лица. Вот тогда это имя сможет попасть в каталог и опись. Что это значит? Это значит, что про существование документов узнает не только тот, кто пришел в архив, интересуясь Ивано-

вым, но и тот, кто занят как раз исключительно Петровым, хотя Иванов, скажем, в десять раз его знаменитее.

В установлении необходимых координат документа архивист не может руководствоваться иерархией лиц, не может обойти своим вниманием имя малоизвестное. Он знает, лицо, сегодня неизвестное и ни у кого, кажется, не способное вызвать интереса, завтра может привлечь внимание исследователей, причем в аспекте непредугадываемом. И дело архивиста так описать документ, чтобы не закрыть его для этих будущих, из разных «точек» пространства науки направленных, подступов к нему. Информационный потенциал документа теоретически беспределен в отличие от большинства печатных работ, написанных на определенную тему. Эта разнота̀ обусловлена тем, что рукописные источники — это не факты науки, а факты для науки, из которых она формирует свои гипотезы. Важную эту особенность называют нередко многовалентностью архивных материалов.

Но где именно искать архивисту столь нужный ему второй инициал лица, поставившего подпись под документом? И каким способом узнать фамилию, в которой читаются только две первые буквы?

Задача эта имеет разные степени трудности в зависимости от того, к какому времени относится документ — к первой или ко второй половине века минувшего, к началу или к середине нынешнего. Причем зависимость эта совсем не такова, какой может показаться неискушенному взгляду.

Есть замечательные книги, горячо любимые каждым архивистом и, несомненно, помещаемые им втайне где-то очень близко от «золотой полки» художественной литературы... Это разнообразные справочники, и среди них одни из самых притягательных — адрес-календари, издававшиеся в России ежегодно. Самый ранний из них — «Адрес-календарь на лето 1765 г.», позже, вплоть до 1842 года, издавался почти каждый год «Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве», выходивший затем вплоть до 1917 года под названием «Адрес-календарь, или Общий штат Российской империи». Ежегодник этот включал в себя перечень должностных лиц всех правительственных учреждений России, причем с 1844 года он выходил с алфавитом. Это означает, что

многие документы личных архивов, начиная с середины XIX века, могут быть расшифрованы с его помощью.

Как это делается? Предположим, перед нами письмо, адресованное некоему Ивану Васильевичу. Из содержания явствует, что он председатель губернской управы. Тогда в «Адрес-календаре» за соответствующий год находится нужная губерния, и в росписи ее штата отыскивается фамилия человека, исправлявшего в тот год такую должность... Обратная задача проще — когда известна фамилия человека и нужно определить, в какой он был должности.

«Адрес-календари» — не единственные издания такого рода, но сами розыски печатных источников справочного характера — дело трудоемкое. Не так давно оно было значительно облегчено: в 1971 году вышел из печати указатель «Справочники по истории дореволюционной России. Библиография», готовившийся несколько лет сотрудниками крупнейших библиотек страны под научным руководством профессора Петра Андреевича Зайончковского, замечательного знатока архивных источников по истории России (в 1978 году вышло второе издание, пересмотренное и дополненное). В томе указано около четырех тысяч справочных изданий, каждое из которых было просмотрено составителями.

Вот перед нами документ начала прошлого века, писанный неким корабельным мастером. Фамилия приблизительно прочитывается, имя и отчество неизвестны. Заглядываем в конец «Справочников», где находится самая увлекательная, с точки зрения архивиста, часть книги — указатели. Среди них «Указатель списков лиц по различным профессиям». Находим — «Мастера корабельные. 2461, 2472». Листаем книгу назад и под номером 2461 находим «Общий морской список» на 1806—1809 годы. Составители книги указывают, что мы сможем найти в этом списке: «Роспись чинов Морского ведомства: морской артиллерии, морским полкам, адмиралтействам и портам; корабельных мастеров, медицинских чинов, директоров и начальствующих лиц военных заводов и др. Указывается время начала службы, дата присвоения данного чина, награды...» Теперь остается выписать эту книгу в библиотеке и надеяться на удачу.

Врачи, маклеры, подмастерья каменных дел... И даже массажистку, жившую в начале века в Казани, представляется возможным найти по «Адресу-указателю

вольнопрактикующихся врачей-специалистов г. Казани», который вышел в Казани в 1910 году и куда включены были, кроме врачей, фельдшера и массажистки... И даже фотографа, проживавшего в Риге в конце прошлого века, а также и художника, писавшего портреты одесских жителей в 1870 году, и многих других людей, давно навсегда покинувших места своего жительства, чьи документы — письма, дневники и прочее — медленной, но неиссякаемой чередой поступают на стол архивиста. Чем ближе к нашим дням, тем поиски затруднительнее. В двадцатые годы продолжали издаваться известные справочники «Вся Москва» и «Весь Ленинград», но в начале тридцатых годов и они прекратились. Потому одна из самых больших трудностей — узнать, как точно (а приблизительность тут недопустима) называлось какое-либо учреждение или тем более его отдел в 1933 или даже в 1950 году, или выяснить что-либо о человеке, если даже точно известно, что он работал, например, в 1935 году в Наркомпросе. Еще труднее придется будущим архивистам — им неоткуда будет узнать необходимые данные о наших днях, те, что могли бы содержаться, скажем, в справочниках под названием «Врачи СССР» или «Врачи Томской области»...

Справочник такого типа — биобиблиографический словарь «Деятели книжного дела в СССР» — готовил в последние годы жизни известный библиограф и книговед И. Кауфман, почти 70 лет жизни отдавший книжному делу. Словарь должен был дать сведения об издателях, книгопродавцах, библиотекарях, иллюстраторах книги и об ученых самых разных специальностей, так или иначе прикосновенных к книжному делу дореволюционной России и СССР. Труд этот не был завершен, но осталась картотека на пять тысяч имен, ожидающая своего издателя. Издание это утолило бы хоть в какой-то степени справочный голод, ощущаемый всеми, кто занимается русской культурой XX века.

— А кто издавал прежние адрес-календари?

— Сначала — Академия наук, а с 1868 года — Департамент герольдии, образованный при сенате из учрежденной еще Петром конторы герольдии. Департамент нес особую функцию — он был хранителем прав дворянского сословия: вел списки дворян, рассматривал жалобы на нарушение сословных дворянских прав и привилегий, надзирал за правильностью гражданско-

го чинопроизводства и занимался сверх того составлением и изготовлением гербов и дипломов на дворянское достоинство...

Сейчас архив этого департамента, хранящийся под номером 1343 в Историческом архиве в Ленинграде, — незаменимый источник сведений о лицах, принадлежавших к дворянскому сословию. Лучший в Москве знаток родословия российского дворянства, Юрий Борисович Шмаров оценивает значение этого архива кратко и уверенно: «Все ищу там — и почти не бывало, чтоб не нашел».

Недавно отпраздновавший свое восьмидесятилетие, очень моложавый и неутомимый в своих разысканиях,





Ю. Шмаров всю жизнь занимается делом, совершенно необходимым исторической науке, но ставшим на несколько десятилетий не просто редкой, а редчайшей профессией, — генеалогией и геральдикой, историей дворянских родов, доведенной до нашего времени, что особенно ценно ввиду бедности современных справочников, о которой мы уже говорили. Генеалогическая биб-

лиотека, которую он собирал всю жизнь, — едва ли не самая полная в стране.

Упомянем, кстати, о таком важном рукописном справочнике, как хранящаяся в Пушкинском доме картотека Б. Модзалевского, содержащая сведения о тысячах имен. В 1974 году В. Баскаков справедливо писал о необходимости создания «при помощи новейшей копировальной техники нескольких ее дубликатов, которые можно было бы поместить в крупнейших библиотеках страны и в научных учреждениях литературоведческого и исторического профиля». Этой разумной и необходимой меры требует, видимо, и картотека В. Саитова, и картотеки многих ученых, хранящиеся в разных архивохранилищах в единственном экземпляре, не только подвергаясь разрушительному действию времени, но и не отдавая в полной мере своего информационного потенциала.

Значение генеалогии (и не только дворянской) в последнее время вновь становится очевидным, она делается предметом занятий научных коллективов. Письма наших читателей показывают, что возникает интерес и к семейному родословию. «Личного архива у меня почти нет, — пишет нам Петр Дмитриевич Л., — но я посчитал своим долгом для своих внуков (а их у меня 10) и правнуков (уже имею одного) описать происхождение нашего коренного уральского, а пожалуй, точнее — свердловского рода начиная с сороковых годов прошлого столетия и до наших дней с краткой характеристикой родственных отношений и судьбы этих семей... Одновременно с этим сделать записи об основных событиях из жизни бабушки, прожившей более девяноста лет и бывшей крепостной у заводчика Демидова, из жизни отца, безвыездно прожившего в Екатеринбурге — Свердловске 78 лет, а также и из своей жизни, прошедшей в бурные годы с 1909 года...»

Доскональное же знание родственных связей давно ушедших поколений, умение узнать в лицо сотни и даже тысячи людей из известных и не очень известных дворянских фамилий (у Ю. Шмарова собрано более десяти тысяч портретов тех, чьими родословными он занимался), свободная ориентация в редких справочных изданиях (упомянем хотя бы одну из работ ленинградского ученого и писателя Владислава Михайловича Глинки «Об установлении лиц, изображенных на порт-

ретах, по форменному платью и орденам», где с почти математической красотой демонстрируется ход опознания «портретов неизвестных», которых немало в каждом музее) — качества уникальные, приобретаемые только годами целенаправленных занятий.

Но без начатков генеалогических знаний не может обойтись ни один из тех, кто работает с архивами.

...Архивист глубоко погружается в чужую семейную жизнь, входит в ее детали — не из любви к предмету, а по профессиональной необходимости. Он знает, имя, встретившееся в одном фонде в полном семейно-генеалогическом контексте, в другой раз встретится изолированно от всех этих связей и поставит его в тупик. Если своевременно не запомнилось, что первой женой поэта К. Бальмонта была Лариса Михайловна Гарелина, что у нее был сын Николай, а от второго брака, с Н. Энгельгардтом, — дочь Аня Энгельгардт, что вторая жена К. Бальмонта Екатерина Алексеевна Андреева (а о ее семье особая речь) родила ему дочь Нину, вышедшую с течением времени замуж за замечательного художника Льва Бруни, — если все это не запомнилось и не всплывает из недр памяти в нужный момент, тогда беда, тогда на обложке с письмом, от которого не уцелело конверта, придется изобразить колченогую надпись: «Письмо к неустановленному лицу с обращением: «Милая Лариса»... и надпись эта будет мучить и томить архивиста, и, может быть, даже сниться, и надолго лишит его душевного равновесия, столь необходимого для этого тихого ремесла.

Итак, родословные, генеалогические деревья, семейные связи. Эти связи протянуты из архива в архив, родня их между собой и внушая архивисту иллюзию еще не погасшей, еще продолжающейся жизни всех этих людей. Вот они переезжают из города в город, знакомятся, женятся, заводят детей, растят их, своим чередом женят и выдают замуж, оказываясь в новом родстве и свойстве, а потом подрастают внуки... Детей много, внуков тоже немало, и круг знакомства, дружбы, родства все расширяется, вот уже имена одних фондообразователей начинают мелькать в архивах людей, удаленных друг от друга в пространстве и во времени, по происхождению и по роду занятий, и в какой-то момент архивисту всерьез начинает казаться, что все люди на свете — родня друг другу.

В 1870 году в Москву из Сибири переехали известные золотопромышленники братья Сабашниковы — старший Василий Никитич и младший Михаил Никитич. Старший приехал с тремя детьми — Екатериной, Ниной и Федором. Здесь, в Москве, родились у него еще двое сыновей. В доме Василия Никитича бывали А. Рубинштейн, А. Чупров, Н. Миклухо-Маклай... «После обеда все общество размещалось в кабинете пить кофе и слушать рассказы Миклухо-Маклая, — вспоминал впоследствии М. Сабашников. — Он сам, взяв в руки чашку и помешивая ложечкой, располагался на старом отцовском ковре из тигровой шкуры около кресла сестры Нины. В таком необычайном положении он вел свои повествования глухим, гортанным, едва слышным голосом, останавливаясь иногда, как бы не находя подходящих выражений». В 1889 году восемнадцатилетний Михаил и шестнадцатилетний Сергей, занимаясь ботаникой, задумали выпустить определитель растений России. С предложением этим они обратились к своему преподавателю (образование они получали домашнее) П. Маевскому, глубокому знатоку русской флоры. И действительно, была написана и в 1891 году вышла в свет книга о злаках Средней России... Издатели были молоды, и первая их книга вышла под издательской маркой их старшей сестры Е. Барановской; с 1897 года книги стали выходить под известнейшей впоследствии маркой «Издательство М. и С. Сабашниковых». Архив издательства хранится в отделе рукописей ГБЛ. Но сведения об этой семье можно почерпнуть опять-таки не столько из этого архива, сколько из архива поэта К. Бальмонта.

Дело в том, что в эти же годы в Москве жила не менее богатая купеческая семья Андреевых. Старшие дочери Андреевой познакомились с дочерью Василия Никитича, а затем и с четырьмя сыновьями и дочерью его младшего брата. Один из этих сыновей, Василий Михайлович, женился на одной из сестер Андреевых — Маргарите Алексеевне. У них родилась дочь Маргарита Васильевна, впоследствии ставшая художницей и вышедшая замуж за поэта М. Волошина. В архиве К. Бальмонта сохранились отрывки из ее дневника 1922 года, где описана ее работа над портретом артиста Михаила Чехова и пересказаны ее беседы с ним. Другая из сестер Андреевых, Екатерина, вышла замуж за

поэта К. Бальмонта. Потому-то именно в фонде Бальмонта хранятся обширные ее воспоминания — о семье Андреевых, о Москве 1890—1910 годов, об известном адвокате А. Урусове и, конечно, о Константине Бальмонте. И третья из сестер Андреевых появляется в свой черед перед человеком, перебирающим бумаги семейного архива и берущим в руки тетрадку дневника, писавшегося более полувека назад. Автор дневника — Александра Алексеевна, образованная, умная и волевая женщина, деятельно участвовавшая в литературной и общественной жизни Москвы 1880—1910-х годов. Она делала доклады в Обществе любителей русской словесности, была членом Московского общества общеобразовательных народных учреждений и председателем попечительства народных школ в Калязинском уезде Тверской губернии. В начале 1920-х годов она жила в селе Талдом Тверской губернии — в том самом, в которое через три года, в 1925 году, приехал М. Пришвин изучать ремесло кустарей-башмачников и написал свой очерк «Башмаки»... Некоторые материалы, имеющие прямое касательство к творчеству Пришвина, тоже могут быть обнаружены в архивах только при условии знания генеалогии. Жили в середине прошлого века три брата Игнатовых — Иван Иванович, Николай Иванович и Василий Иванович. Братья были богаты, особенно старший. Дети среднего брата, Николая, все стали революционерами: Василий — одним из организаторов группы «Освобождение труда», Илья стал членом «Земли и воли», был арестован в 1877 году, провел два года в тюрьме и три года в ссылке, а позднее был известен как талантливый литератор и публицист, редактор газеты «Русские ведомости»; Евдокия стала сельской учительницей и народоволкой, вошла в группу «Черный передел».

Но события семейной этой истории приобретают дополнительное значение, когда мы знаем, что у трех братьев была сестра Маша, что в замужестве она имела пятерых детей, и пятый стал писателем — Михаилом Пришвиным, и родственные его связи ожили в первом его романе «Кащеева цепь», где Марья Моревна имела черты дочери дяди Василия, старший из братьев Игнатовых стал прообразом Астахова, а двоюродная сестра Пришвина, Евдокия, — прообразом Дунечки. В воспоминаниях дочери Ильи Николаевича Игнатова (умер-

шего в 1921 году), Т. Коншиной, написанных уже в наши дни, рассказываются семейные легенды об этой реальной подоснове романа, а также и об С. Вавилове, о друзьях юности автора, об М. Шике... и здесь внимание архивиста снова настораживается: надо понять, аннотируя воспоминания (а это необходимая часть работы над материалами мемуарного характера), что речь идет о Михаиле Владимировиче Шике, в начале 1920-х годов входившем в состав научной комиссии по охране Троице-Сергиевой лавры, возглавлявшейся П. Флоренским и проведшей огромную работу по научному описанию памятников древнерусского искусства, — а не о Максимилиане Яковлевиче Шике, замечательном переводчике русской литературы на немецкий язык, сотруднике и секретаре журнала «Весы», авторе работ о Ведекинде, Грильпарцере, Рильке; девяностолетие со дня его рождения было отмечено в 1974 году научной и литературной общественностью Москвы. Имена обоих этих деятелей культуры нередко пересекаются в архивах XX века.

Далее генеалогические связи ведут архивиста в частную жизнь семьи, а тем самым — в историю нашего общества, документы открывают ему, что жена Михаила Владимировича, Наталья Дмитриевна Шаховская, автор книг о Короленко, о Фарадее (написанной в соавторстве с мужем) и Амундсене, была дочерью Дмитрия Ивановича Шаховского, биографа П. Чаадаева; ее старшая сестра, Анна Дмитриевна, воспитавшая пятерых детей младшей, осиротевших в 1942 году, была секретарем В. Вернадского и написала впоследствии книгу «Кабинет-музей Вернадского»... Путь от документа к документу — это путь от человека к человеку, от судьбы к судьбе, от одного временно́го среза жизни общества к другому... Не только письма или воспоминания, но разнообразные ходатайства, автобиографии, справки с места службы — все это документы человеческой жизни, окрашенные интенсивным цветом времени, влиявшего на нее, старавшегося формировать по своему образу и подобию, и автобиографии одного и того же человека, составленные в разные годы его жизни, рассказывают о его жизни неодинаково, и различия эти тоже дают исследователю материалы для истории общества... Иной раз сами умолчания в таких документах красноречивее подробных разъяснений. «Человек не говорит

главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще более главное», — писал об этом Тынянов.

...Архивист долго, придирчиво разглядывает рукопись, лежащую на его столе. Он осматривает каждый ее лист с двух сторон, отмечая и попорченный его край, и чужие пометки в тексте; он вертит рукопись и так и эдак и осторожно колупает пальцем переплет — не расклеивается ли он и не скрыто ли что там внутри (заметим в скобках, что в древних рукописных книгах под крышкой переплета вскрывается нередко более старый текст). Подробно, в определенном порядке он заносит все замеченное на обложку, и его усердие иногда совершенно незаметно для него самого порождает строки классического ямба:

На верхней части переплета
Следы утраченного герба...

Вот беловая рукопись известной статьи ученого. Но на оборотных сторонах листов еще какой-то текст, жирно перечеркнутый автором и потому не задерживающий на себе непрофессиональное внимание. Для архивиста же зачеркнутое не «погашено», а вглядевшись, он увидит, что известная статья написана на чистых сторонах другой — бумаги не хватало, — ранней, и, как выяснится, до сих пор неизвестной. А на обороте листка с автографом стихотворения он увидит текст полученной поэтом телеграммы, установит ее отправителя и обозначит на обложке — кем послана, кому и когда. Ребенок нацарапал фразу в тетради отца, сидя у него на коленях, — и архивист обязан отметить: «На листе таком-то вписано рукою такого-то...» Смешная скрупулезность? Но без нее каждый исследователь будет проходить заново раз пройденный путь, будут множиться ошибки атрибуций, датировки и проч. ...Еще приказные люди допетровской Руси — подьячие, или повытчики, — составляя описи документов, хранившихся в приказном архиве, указывали: «вершено» (окончено) или «не вершено» дело, чьи подписи и пометы имеются на документе, подробно описывали его внешний вид: «о середке пригорело в 4-х строках, печати ростопилися», «с одного боку подрана и от воску немного пообвощала». И сегодняшний архивист, чем «старше» рукопись, которую он описывает, тем с большим тщанием отметит эти же ее черты.

...А описание фотографий! Это напряженное, долгое вглядывание в глаза, нос, брови давно умерших, неведомых ему людей — в тщетной попытке отождествить юношу с лихими усиками и девичьим подбородком — и зрелого мужа с отяжелевшим лицом... Надписывайте фотографии, сдавая их в архивы!

И опять нельзя не вспомнить о генеалогии и сопутствующих ей дисциплинах. Похож-непохож — это суждение целиком субъективное, хотя очень часто архивисту и приходится им довольствоваться. Но если на фотографии или портрете человек в мундире — здесь уже вступают в свои права критерии объективные и нередко опровергающие или легенду, твердо державшуюся в памяти владельцев портрета, или личную убежденность исследователя.

Человек, владеющий этими критериями, уже не смотрит в первую очередь на нос или брови, он смотрит на «мундиров выпушки, погончики, петлички», он говорит — на этом портрете генерал-лейтенант свиты его величества, причем по аксельбанту можно увидеть, каким именно императором пожалован он в свиту. А коли предполагаемое лицо никогда в этом чине не бывало, то и вглядываться в глаза его или брови не приходится!

Вы показываете такому человеку портрет, который связываете, например, с кем-то, умершим в 1828 году, а он глядит не на лицо его, а на пуговицы, и поясняет, что пуговицы с орлом введены были позднее.

Но вот архив наконец разобран, вся огромная справочная, текстологическая и прочая работа произведена, ее перипетии уже забыты самими архивистами, а результаты вынесены на обложку — все рукописи опознаны, все получили наименование... Теперь они должны быть выстроены в определенном порядке, архив должен получить (или скорее выявить) свою структуру, в основе которой большие группы материалов: творческие рукописи, биографические документы, служебные бумаги, воспоминания, переписка, фотографии, материалы разных лиц, присланные фондообразователю в деловых каких-то целях или подаренные ему и т. п. В разных фондах на первый план выдвигаются разные материалы. Иногда самое интересное, что есть в архиве, — это воспоминания, написанные самим фондообразователем или членами его семьи, иногда же наиболее ценной и обширной его частью является переписка. Лицу, ничем

особенно не замечательному, но известному в широких общественных кругах или, например, занимавшемуся в какой-то момент своей жизни издательской деятельностью, могли писать наиболее выдающиеся люди его времени, и тогда все остальные материалы архива — биографические, служебные и прочие документы служат главным образом справочным, вспомогательным материалом для публикаций этой переписки.

Представление о соотносительной ценности разных частей архива нередко оказывается различным у его владельца (а чаще — владелицы) и у сотрудников архивохранилища. Так, в фондах среднего или даже хорошего литератора его собственные творческие рукописи могут оказаться наименее интересной частью (если только среди них нет рукописей еще неопубликованных вещей), зато большой историко-общественный материал даст переписка или уцелевшие дневники; наследники же его, как показывает опыт, никогда не согласятся с этим взглядом. Они сохраняют собственный масштаб ценностей, привыкнув за многие годы более всего почитать тот ежедневно наблюдаемый ими, нередко изнурительный труд, в процессе которого и рождались эти рукописи. И этот личный их масштаб ценностей невозможно не уважать, и не надо ожидать от людей, передающих государственному хранилищу архив близкого человека, той меры научного беспристрастия, которую обязан проявить архивист.

Иное дело — творческие рукописи большого писателя. Даже если все произведения его счастливым образом оказались опубликованы при жизни, все равно его рукописи остаются ценнейшей частью его архива и будут постепенно пополнять научное знание о литературе.

Как все меняется! Что было раньше птицей,
Теперь лежит написанной страницей.

Н. Заболоцкий

РУКОПИСИ ГОВОРЯТ

— Понятно, когда найдена рукопись неизвестного до сих пор произведения... Но если это стихи или рассказы, которые уже десятки и даже сотни раз переиздавались! Так ли необходима рукопись, когда есть печатный текст, и хорошо выверенный?

— В том и дело, что для архивиста, как и вообще для человека, имеющего дело с рукописными источниками, никакая книга не несет на себе отпечатка законченности. Можно, пожалуй, сказать, что чувство благоговения перед печатным словом у архивистов сильно понижено. Они знают, что любой печатный текст текуч, а незыблем тот единственный подлинник, с которого делаются все печатные издания. Они знают также, что любое полное собрание сочинений, которого с нетерпением ожидают подписчики, становится неполным уже в момент выхода — находятся новые письма, новые редакции известных произведений, новые архивные сведения об обстоятельствах их создания и печатания...

Поговорим подробнее о творческих рукописях.

Начнем с того, что авторская рукопись — это единственное абсолютно бесспорное доказательство принадлежности произведения данному писателю.

Мы нередко читаем об отысканных в старых журналах и газетах неизвестных до сей поры, никогда не переиздававшихся рассказах или статьях известных писателей — вовсе не подписанных ими или подписанных псевдонимами. Современная отечественная наука располагает довольно хорошо разработанными методами атрибутирования — установления авторства. Так, в последние годы группа научных работников, готовя-

щая академическое тридцатитомное Собрание сочинений А. Чехова, осуществляла сплошной просмотр периодики 1880-х годов и обнаружила немало неизвестных прежде текстов писателя. Но даже самая добросовестная, учитывающая множество историко-литературных фактов и соответствий атрибуция остается лишь более или менее убедительной гипотезой. А если бы была найдена рукопись — характерный почерк А. Чехова восьмидесятых годов не оставил бы никаких сомнений.

В Собрание сочинений Н. Добролюбова в 1937 году





включена была статья «Сведения о жизни и смерти царевича Алексея Петровича», напечатанная в 1860 году в «Современнике» за подписью «П». Комментатор подробно объяснял, насколько ярко выразились в этой статье взгляды автора, и отмечал «курьезную ошибку» «Русского биографического словаря», где «статья... приписана Пекарскому, тогда как это есть работа Добролюбова». Между тем П. Пекарский и был автором этой работы (и в последнем Собрании сочинений Н. Добролюбова ее нет), а Н. Добролюбов разве что редактировал ее: в Рукописном отделе Публичной библиотеки

в Ленинграде в фонде П. Пекарского хранится черновой автограф основной части этого сочинения...

Но вот автограф изучен, авторство установлено, произведение опубликовано. И все же рукопись всегда остается главным и наиболее надежным источником для изданий и переизданий писателя. Казалось бы, можно механически перепечатывать с уже имеющихся книг — прижизненных или посмертных публикаций. Однако тексты нередко искажены цензурным вмешательством, слишком энергичным редактированием, неряшливым набором и авторским невниманием при чтении корректуры. Какая-то порча текста при любых изданиях неизбежна, это хорошо известно текстологам. И всякий раз при новом научном издании однажды опубликованный текст будет сверен с подлинником.

Абсолютное значение рукописи, казалось бы, отпадает, когда имеется издание академическое, где устранены все искажения, где печатный текст уже был однажды внимательнейшим образом сверен с рукописью и выправлен по ней там, где это оказалось необходимо. Но текстология развивается, как и все остальные науки. Раньше слово, а то и целую фразу, читали так, теперь читают иначе. Когда в 1910 году П. Морозов сделал замечательное открытие, расшифровав отрывки не дошедшей до нас так называемой десятой главы «Евгения Онегина», среди опубликованных им строк оказались такие:

Я всех уйму с моим народом, —
Наш царь в покое говорил...

В то время никто не засомневался в правильности этого чтения. Слишком сложными были тогда другие вопросы, встававшие перед текстологами при анализе рукописи: надо было понять последовательность строк, разъяснить описки и ошибки Пушкина, расшифровать сокращения («З» — царь, «Р» — русский или Россия, «Л» — Лунин, «Б» — Барклай или Бонапарт и т. д.), прокомментировать исторические и политические намеки...

И только в 1940-х годах в строку, не совсем внятную по смыслу, вгляделись внимательней. И ясно увидели, что все вроде бы отчетливо читавшиеся буквы совсем другие, что это не «в покое», а «в конгр.», то есть недописанное «в конгрессе» (а было уже известно, что речь идет о Лайбахском конгрессе):

Я всех уйму с моим народом, —
Наш царь в к о н г р е с с е говорил.

«Так это и печатается теперь», — эпически заключает этот рассказ об одном из сотен и тысяч текстологических казусов Сергей Михайлович Бонди — замечательный филолог, один из лучших отечественных текстологов и знатоков пушкинских рукописей.

Именно он еще в студенческие годы прочел заново тот самый листок, который незадолго перед тем расшифровал П. Морозов. В докладе, прочитанном в семинаре, которым руководил профессор С. Венгеров, С. Бонди высказал гипотезу, что каждое из четверостиший — это начало отдельной онегинской строфы, причем последовательность этих строф жестко определена самой записью, представляющей собой авторский шифр. (История этого открытия рассказана в романе Каверина «Исполнение желаний») Эта гипотеза обладала редкой для литературной науки убедительностью. Другой замечательный пушкинист, Борис Викторович Томашевский, человек, получивший техническое образование и более других строгий в оценке степени достоверности филологических гипотез, в статье об истории разгадки десятой главы писал, что положения, высказанные С. Бонди, «дали возможность с полной несомненностью реставрировать десятую главу в пределах дошедшего до нас текста и указать, что именно нам недостает». Сам же Б. Томашевский и продолжил текстологическую работу над главой и сформулировал принципы ее печатания.

Совсем особая проблема — чтение рукописей черновых, то есть со многими поправками. И здесь можно с решительностью говорить о том, что в двадцатые-тридцатые годы нашего века была создана новая текстологическая традиция. Именно в эти годы отечественная текстология, имеющая дело с литературой нового времени, стала наукой (древние рукописи успешно читали и прежде того).

В первые десятилетия после смерти Пушкина его черновики читались с одной целью — выбрать из них неизвестные куски текста, варианты строк. Потом это отношение к ним как к подсобному материалу сильно изменилось — их стали печатать целиком, стремясь воспроизвести каждое зачеркнутое слово, причем так, что-

бы тщательно сохранить само «пространственное» его положение — под строкой, над строкой и т. д.

Внимание издателей было обращено при этом только на место, где стоят слова, а не на связь их друг с другом и с общим замыслом. Понятно, что много слов оставалось при этом неразобранными.

Новая система чтения рукописей Пушкина («удивительная по своей стройности, простоте, ясности и всеобщности» — так определил ее один из старейших пушкинистов, Николай Васильевич Измайлов) была разработана усилиями многих текстологов, но главным ее создателем был С. Бонди.

Он взглянул на черновик не как на бесформенную груду разобранных и неразобранных слов и отрывков фраз, а на некий по-своему целостный, связный, только еще не прочитанный текст. Он выдвинул важнейший тезис — читать черновую рукопись нужно в той последовательности, в какой она писалась автором. Только такое чтение дает возможность увидеть беспорядочные записи в разных местах листа как следы единого процесса, единого движения автора к законченному тексту стихотворения. Оно помогает прочесть и те слова, которые не могут быть разобраны иным путем. С. Бонди заметил, например, что «у Пушкина (да, вероятно, и не у одного Пушкина) есть манера: если какое-нибудь слово ему приходится писать несколько раз (например, зачеркивая и снова повторяя его), то во второй, третий и т. д. разы он пишет его вовсе неразборчиво: ему надоедает несколько раз писать это слово, и он вместо слова пишет нечто совсем неясное» — иногда даже заменяет его чертой, линией! Понятно, что отдельно прочесть это нельзя, но, дойдя до них в порядке последовательного чтения (если последовательность работы автора понята правильно), можно догадаться, что это восстановление слова, ранее зачеркнутого.

Задачей исследователя новой текстологической школы стало не изучение «топографии» черновика, а расслоение его на пласты временны́е — он стремился вычленить в перечеркнутой несколько раз строке вариант предшествующий и последующий, понять, каким текстом и в какой момент работы заменено было зачеркнутое.

Догадка исследователя, его интуиция при таком чтении приобретает еще большее значение, чем при под-

ходе статическом, сводящемся в конце концов к разгадыванию начертания букв, — ведь теперь все его усилия соединены в следовании «за мыслями великого человека», что есть, по словам Пушкина, «наука самая занимательная». Здесь-то и место нежданным озарениям, восстанавливающим вдруг целую пушкинскую строку. «Встретившись на какой-то пушкинской конференции в Ленинграде с Б. Томашевским, — рассказывает С. Бонди, — я стал жаловаться ему, что не умею прочесть одного слова в рукописи Пушкина. Снимка с рукописи у меня с собой не было, и я сказал ему вслух этот пушкинский отрывок. Когда я прочел три последних стиха —

...Ликует русский флот — широкая Нева
Без ветра в ясный день глубоко взволновалась,
Широкая волна плеснула ...

— ...в острова, — тотчас закончил Томашевский. И это было совершенно верно. И вид рукописи потом вполне подтвердил это.

Б. В. Томашевский, насколько мне известно, не изучал до этого времени рукописи, о которой идет речь. Просто он, давнишний петербуржец, внимательно слушая строки Пушкина, ясно представил себе, как громадная волна, образовавшаяся от скатившегося со стапелей тяжелого корабля, выплеснулась на низкие берега Невы. А Петербург чуть не весь стоит на островах — Васильевском, Петербургской стороне, Аптекарском, Петровском, Каменном, Вольном и др... Поэтому вполне естественно ленинградцу Томашевскому сразу пришло в голову недостающее по смыслу, стихотворному размеру и рифме слово...

Широкая волна плеснула в острова».

— Значит, рукопись — это не просто подсобный материал для текстологов-издателей, для тех, кто умело извлекает из нее новые, неизвестные прежде строки поэта, первоначальные редакции страниц известного романа...

— Рукопись открывает нам не только самый текст, но и процесс его создания. Она приподымает край завесы, опущенной над благословенным даром, посланным человеку, — способностью к творчеству. Читая, а верней, изучая рукопись, мы как бы соприсутствуем

при давно завершенном акте творчества. Разные рукописи в разной степени запечатлевают путь творческой мысли.

Живейший интерес к рукописям Пушкина объясняется не одним только значением для всех нас его поэзии, но и специфическими их особенностями: дело в том еще, что Пушкин (в отличие от многих поэтов) «сочинял свои вещи большею частью прямо на бумаге, во время писания их, и почти весь процесс создания им вещи получал точное отражение в рукописи, что делает его рукописи в высшей степени богатыми, содержательными и выразительными. Работа над ними крайне увлекательна.





Замечательно при этом, — пишет далее С. Бонди, — что при всей видимой беспорядочности пушкинских черновиков, если внимательно разобраться в том, как работал над ними Пушкин, мы увидим тот же необыкновенно ясный, благоустроенный, стремительный, лишенный всякого педантизма, всякой болезненности и уродства ум Пушкина, который сквозит во всех его произведениях и высказываниях. По своей естественности,

внутренней закономерности, отсутствию неожиданных капризов черновики Пушкина (как и многое в его творчестве) приобретают своего рода классический характер».

Рукописи разных писателей, быть может, еще более отличны одна от другой, чем их книги. Это разные мироустройства. Есть рукописи, в которые невозможно проникнуть легко и быстро, которые требуют многих лет вживания в особые способы авторской записи, подолгу ожидают тщательной расшифровки. Грандиозные лабиринты представляют собой рукописи Ф. Достоевского. С непостижимой, потрясающей воображение быстротой писавшиеся главы «Подростка» (в начале месяца глава еще не начата, а в конце его уже отослана Н. Некрасову для очередной книжки «Отечественных записок») оставили в бумагах писателя особенные следы — намывы мощного напора мыслей, картин, готовых сцен, набрасывающихся наспех на уголках листов, на полях, между строк готового текста... В самих планах отдельных глав и всего романа, набрасываемых в разных местах рукописи, Б. Томашевский находил отпечаток «какой-то психологической поспешности, неудержимого и хаотического потока мыслей, эпизодов, замечаний и т. п.»; в этом смысле они глубоко отличны от тщательно составленных тургеневских планов, сопровождаемых нередко подробными «формулярами» героев.

Одни писатели набрасывают сначала весьма приблизительные черновики, а потом поверх этого до конца дописанного текста наносят второй и третий, и текстологи впоследствии «снимают» один за другим эти слои, устанавливая последовательность редакции.

Другие же досконально обдумывают текст и лишь потом заносят его на бумагу. Так работал С. Есенин, а Ш. Бодлер даже подробно и ревностно обосновывал «правильность» такого именно способа работы. «Сначала много думайте, чтобы потом быстро писать: повсюду носите с собой ваш замысел — на прогулку, в ванную, в ресторан... Я не сторонник густо испещренных поправками рукописей: это затемняет зеркало мысли».

Рукописи Ю. Олеши свидетельствуют, что он не мог набрасывать приблизительных черновиков, не мог двигаться дальше, пока не находил нужного слова.

О такой же особенности своей работы говорил

А. Толстой, уверенный, как большинство писателей, в ее универсальности: «Иной раз по слабости душевной напишешь такое-то место приблизительно — оно скучно, фразы лежат непрозревшие, мертвые, но мысль выражена, беды как будто нет? Черкайте без сожаления это место, добивайтесь какой угодно ценой, чтобы оно запело и засверкало, иначе все дальнейшее в вас самом начнет угасать от этой гангрены.

Я всегда руковожусь чувством приязни и неприязни к бегущим строчкам. Скука — вернейший признак нехудожественности. Покуда предыдущее не сделано, я не могу идти дальше. Отсюда метод работы: я не пишу черновиков, не могу заставить себя набросать, скажем, рассказ вчерне и затем отделать его, — работа опротивеет, соскучусь, брошу. То, что написано, уже почти готово (исключая мелочей, длиннот, неудачно найденных слов)».

Черновая рукопись «Железного потока» состоит из многочисленных склеенных между собой кусков текста. Сам А. Серафимович пояснял: «Писал разбросанно, кусками. Не так, чтобы с начала с первой главы начал — и до конца по порядку. Нет. Помню, прежде всего написал хвост, последнюю сцену митинга. Вслед за концом я написал начало, которое также подверглось усиленной обработке... Когда конец и начало были уже готовы, нужно было их соединить... Середину я писал кусками: то одну сцену напишу, то другую, по мере того как они складывались в сознании. Несмотря на то, что в голове вся тема держалась полностью, почему-то не все сцены вставали с одинаковой яркостью, они не шли гуськом, вслед, в порядке друг за дружкой. Куски я потом постепенно склеивал и переклеивал... Переписал, потом по частям стал перерабатывать: возьмешь один кусок, переработаешь и вставишь».

Есть ли зависимость между способом работы и самой манерой писателя? Ш. Бодлер видел причину «многословности» и «скомканности» романов О. Бальзака в том, что он «невероятным образом исписывает и перечеркивает свои рукописи». Но вот оставленное очевидцем описание рукописи Ан. Франса, прозу которого никак нельзя упрекнуть в тех же грехах: «Каждая страница была подскоблена, переправлена, изрезана ножницами. ...Он делал бесконечные исправления, изменял порядок фраз, находил новые переходы, разрезал свои листки на

какие-то причудливые фигуры, ставил в начале то, что было в конце, вверху, что было внизу, и подправлял все кисточкой с клеем. Некоторые части, уже набранные, были написаны вновь, потом восемь или десять раз переделаны в корректурных листах».

Г. Флобер признавался с отчаянием: «Для того чтобы написать полторы страницы, я вымарал двенадцать!» И слишком хорошо известна манера работы Л. Толстого, с простодушием говорившего А. Гольденвейзеру: «Я не понимаю, как можно писать и не переделывать все множество раз». М. Булгаков не оставил признаний относительно способов своей работы; не написано и воспоминаний об этом его близкими или друзьями. Однако сам архив писателя, сохраненный Е. Булгаковой, дает яркое об этом представление. Первые редакции М. Булгаков всегда писал от руки, в толстых общих тетрадях, никогда — на отдельных листах (напомним здесь о такой же особенности работы М. Цветаевой, недавно описанной ее дочерью А. Эфрон: «На отдельных листах не писала, только в тетрадях, любых — от школьных до гроссбухов, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шила тетради сама». В гроссбухе начал своего «Пушкина» и неоконченную «Автобиографию» и Ю. Тынянов). Писал чернилами; карандашом — редко и, по видимости, вынужденно; тщательно пронумеровывал предварительно страницы тетради. Цветными карандашами — красными или синими, а иногда и тем и другим вместе, М. Булгаков подчеркивал особо важные выписки из источников, отмечал места вставок, дополнений, перенумераций и иногда делал вымарки.

Задача чтения его рукописей не встает перед их исследователем как особая проблема, требующая выработки специальных методов. Почерк писателя отчетлив и разборчив. Хотя «а» пишется им как «о», а «буква «о» выходит как простая палочка» (что отмечено и самим автором в «Театральном романе»), но необычные эти начертания легко запоминаются и быстро перестают затруднять текстолога. Как бы ни торопился почерк автора, ни одно слово не остается недописанным, крайне редки пропуски слов и описки. Строка текста не утесняется к краю листа, не загибается на поля: никогда не пытаясь уместить конец слова или фразы на кончающейся строке, автор переносит его на следующую с некоторым запасом, и потому слегка обветшавшие края

рукописи не грозят порчей и утратой текста. Обширные приписки на полях здесь почти не встречаются — все более или менее пространные дополнения или перемены текста вынесены обычно на отдельный лист в конце тетради или в особую тетрадь с дополнениями. Неизменно точно датированы начало и конец определенного этапа работы; нередко проставлены даты и в середине текста. Эта хронология не только опорные пункты для исследования творческой истории отдельных произведений, но и неоценимый материал для восстановления биографии писателя, так мало еще известной. Рукописи М. Булгакова хорошо организованный и внутренне упорядоченный мир, почти не дающий поводов для тех текстологических гипотез и даже гаданий, которые неразрывно связаны с изучением черновых рукописей многих писателей. Его черновые наброски умещаются обычно на немногих первых страницах, а далее начинается связный текст — отнюдь не испещренный поправками и зачеркиваниями. Рукописи говорят, что автор не думал над словом часами, он писал быстро, подряд, не останавливаясь надолго, а правил позже и чаще всего во время перепечатки. В тридцатые годы М. Булгаков нередко диктовал свои пьесы и главы романа жене. И этот с голоса рожденный или своей рукой написанный первый текст, многие страницы которого останутся почти неизменными до последних его редакций, несомненно, не раз еще будет поражать воображение исследователей, будет побуждать их к поискам «самых первых», в привычном смысле черновых текстов, которых скорее всего никогда не существовало! Рукопись «Театрального романа» существует в единственном экземпляре: он был написан сразу набело, в трех общих тетрадях одна за другой, с фантастически малым числом помарок. Все уже жило готовым в голове автора, прежде чем он брал в руки перо (нечто близкое к этому сообщает В. Немирович-Данченко, вспоминая о работе А. Чехова над пьесой «Три сестры»: «У меня весь акт в памяти, — говорил он. — Сцена за сценой, даже почти фраза за фразой, надо только написать его»).

Возможно, что различие внешнего вида рукописного наследия разных писателей в какой-то степени связано с тем, насколько необходимой частью их работы является предварительное обдумывание ее плана: «Есть писатели (говорят), которые составляют план, разбивают

его на главы и затем пишут то, что им в подробностях уже все известно, — не без негодования писал А. Н. Толстой. — Я не принадлежу к их числу. Если я буду писать по придуманному плану, то мне начнет казаться, что искусство — бесполезное и праздное занятие, что жизнь в миллион раз интереснее, глубже и сложнее, чем то, что я придумал за трубкой табаку. Я даже не верю в существование писателей, пишущих по плану».

Ю. Олеша, который писал кусками — отдельными сценами, даже строчками, — не представляя заранее не только конца вещи, но даже ее течения, признавался: «Ничего наперед придумать не могу. Все, что писал, писал без плана. Даже пьесу. Даже авантюрный роман «Три толстяка»...»

Рукописи М. Булгакова свидетельствуют, что «письменная» работа над планом произведения совершалась уже в процессе работы, а не предшествовала ей. Первые варианты плана всегда появляются позже черновых набросков и нередко после целиком написанных начальных глав или сцен. Они составляются в процессе писания, чаще — в форме оглавления, но далее автор уже постоянно подновлял их, менял, а изменив — заново переписывал. Каждая новая редакция почти всегда имела свой план, аккуратно записанный на особых страницах. И если такого плана в его рукописи нет, то это означает лишь одно — что план этот был слишком ясен автору. Так было и с «Театральным романом». Весь он уже сложился в голове, был рассказан близким и даже представлен в лицах, со всеми подробностями мизансцен, прежде чем стал ложиться на бумагу. Роман так и не был дописан (осталась неосуществленной почти вся вторая его часть), — но был досказан. Впрочем, если вступить все-таки в область гаданий, может быть, эта полная досказанность и помешала автору его закончить — слегка остыл интерес, все было ясно наперед. Так или иначе, он оставил этот замысел и целиком отдался работе над другим, ставшим последним, романом, где впереди было еще многое неясно, где самого его ждали открытия.

Архив писателя обнажает не только ход его творческой работы, но, так сказать, и предварительные ее условия. Он говорит о складе личности, а также принадлежности к определенной культурной традиции. Так, рукописи М. Булгакова открывают, например, усвоенные им

еще в университетские годы навыки умственного труда. Делая выписки из источников, писатель непременно указывает в скобках фамилию автора или хотя бы начальные буквы заголовка издания и номер страниц, и делает это явно автоматически, не заботясь об этом специально, не отвлекаясь от главной мысли. Рукописи показывают, что работа его над любым замыслом начиналась со справочников — прежде всего с особенно им любимого энциклопедического словаря Брокгауза — Ефрона. А сегодняшнему архивисту нередко приходится удивляться неосведомленности современного литератора в самом факте существования не только архивов, но даже справочных отделов крупных библиотек, и всей разветвленной системы справочной литературы.

Мы говорили о том, что рукопись — надежный источник атрибуции. Добавим, что не у каждого писателя почерк настолько определенен, что может быть угадан с первого взгляда. Разумеется, невозможно спутать ни с каким другим прекрасный, почти неизменно отчетливый почерк А. Блока. И все же эти случаи — редкость. Гораздо чаще почерк писателя меняется не только в разные периоды его жизни, но и в зависимости от характера его автографа (стихи или краткая деловая запись, медленность или поспешность письма и т. п.). Почерк М. Зощенко, столь характерный, почти рисованный в его письмах и беловых рукописях, совсем иной в рукописях черновых, где он не сразу может быть узнан. Не забудем еще одно обстоятельство — исследователь всегда почти держит в руках автограф уже опознанный, и он уже психологически настроен отождествлять почерк с тем именем, которое стоит на обложке, — он уверен в его «характерности». Но попытайтесь представить состояние человека, перед которым сотни еще не опознанных автографов, и среди них вполне может оказаться рукопись, принадлежащая перу любого из тех, кто составляет славу нашей словесности... Какая острота внимания здесь нужна, какая широкая ориентация в материале!

Впрочем, рукописное наследие писателя XX века — особенно начиная со второго его десятилетия — выглядит иначе, чем наследие его предшественников. Нередко это уже не рукописи в буквальном смысле слова — то есть не о т р у к и написанное, а главным образом отпечатанное на машинке. Правда, архивисты сохраняют

термин «рукопись», имея в виду все стадии работы над текстом, предшествующие моменту его издания, — машинописи, корректуры, а также и все последующие этапы, привносящие нечто новое в печатный текст (авторская правка, имеющая целью подготовку к переизданию, и проч.). И все-таки удельный вес текстов-автографов, т. е. собственноручно написанных, еще велик. В огромном архиве Вс. Иванова сотни и тысячи листов, заполненных довольно ясным почерком, с большими полями, с большими пробелами между строк.

«...Высились в разнообразных сосудах остро, как пики, отточенные самим Всеволодом карандаши, — вспоминает Тамара Владимировна Иванова. — Писал он карандашом лежа, держа на коленке дощечку с блокнотом.

Потом правил и сам перепечатывал на машинке. Опять правил и давал машинистке. Еще раз правил и часто начинал весь процесс — от карандаша к машинке и обратно — по многу раз кряду».

— Читая изо дня в день только от руки написанное, да еще сотнями разных людей, архивисту трудно, надо думать, не предаться соблазну определять характеры по почерку — или хотя бы высказывать догадки в духе психографологии.

— Ю. Тынянов как-то записал: «В психографологию я не верю с тех пор, как графолог Моргенштерн, взглянув на мой почерк, заявил, что я деспот в личной жизни». Но и у него интерес к почеркам изучаемых им литераторов был острым. Многочисленные рабочие планы, сохранившиеся в его личном архиве, показывают, что он думал написать о почерках особо — статью или, возможно, эссе. В одной из его записных книжек остались наброски к этой работе:

«Квадратная клинопись Чаадаева, издевающаяся над своей эпохой, листки его рукописей, подобные папским буллам.

Похожий и очень непохожий на него почерк Вяземского: квадратные, отдельные буквы, но бревенчатые, с торчащими во все стороны застрехами и соломой, княжеская деревня на бумаге.

Почерка царей, начиная с Александра Первого, — как цирковые, дрессированные лошади, умеющие двигаться только по корде, по кругу.

...Ломаная дрожащая проволока Тютчева, напоми-

нающая ломаные готические линии немецких соборов и английские почерка XVIII века.

...Гоголь — старательный, в котором еще чувствуется пропись». И еще раз о нем: «Аккуратный, изящный и детский почерк Гоголя...»

Работа остановилась на набросках, но рассуждения о почерках попали в роман о Пушкине. Там описан лицейский учитель чистописания — Калинич. «Он требовал твердой линии и был враг нажимов и утолщения, а в особенности не любил задержки пера на началах и





концах букв, от чего получалась точка. Это он считал чертою подлою, приказною и писарскою. Не любил он также «кудрей» — букв широких, раскидистых. Так писал Корф и Кюхельбекер, обучавшиеся дома немецкой грамоте.

— До парафа не дойдете, — говорил он им.

Параф, росчерк подписи, он считал самым трудным, завершением всего дела.

— Кто неясно пишет, тот, видно, смутно и думает, — говаривал он, ничем, впрочем, не подтверждая этой своей мысли.

К почерку Александра он относился снисходительно:
— Новейшей французской школы — есть полет, но мало связи. Илличевский четче, но склонен к завитку».

Вот еще одно из значений рукописей великих людей — сам почерк Пушкина притягивает взгляды вот уже более века, листок, заполненный его рукою, строками, давно затверженными всеми наизусть, излучает некие новые смыслы, и мы не можем предугадать, какие ответные импульсы вызовет у будущих поэтов и художников постоянное это излучение. Недаром этот почерк, эти пушкинские «парафы» и виньетки в конце глав создали целое направление в отечественной графике, недаром стремление дать «словесный портрет» его почерка овладевало многими. Одно из лучших (хотя, конечно, несущее печать личного видения) таких описаний в книге А. Эфроса «Рисунки поэта»: Пушкин — «хозяин своему почерку. Он не пригвожден к нему покорно и бесповоротно, как большинство людей. Садясь за писанье, Пушкин всегда знает, в каком ключе поведет его перо ряды букв. Его автографы легко классифицируются. Можно сказать, что у него две категории почерка и четыре вида. Первая категория — творческая, вторая — светская. В первой категории два вида: черновой и беловой; во второй — тоже два: интимный и официальный. Беловые творческие автографы выполнены ускоренными, блистающими, я бы сказал, торжествующими взлетами и опадениями нажимов и штрихов, наделенными непоколебимой поступью ритма. Его черновики — это почерк в халате, на босу ногу, растрепанные абрисы букв, стенограммы словесных личинок, скорее условные знаки будущих понятий, нежели смысловые обозначения... Почерк его писем к людям своего круга, к жене, брату, друзьям, приятелям — небрежно-естествен, но с чуть заметным манерничаньем, тем своеобразным выраженьем пафоса дистанции, которого он не терял никогда и ни к кому... Наконец последняя манера: холодный, заставляющий нас ежиться, змеиный блеск его официальных автографов, посланий к Бенкендорфу и т. п. — с их абсолютной выписанностью, парадной отточенностью штрихов и завитков, условной фальшью графического церемониала, торжеством казенного писания над человеческой письменностью, — почерк в мундире и орденах. Мы как-то не сразу даже узнаем его. Надо сделать над собой усилие, чтобы увидеть в нем пушкинскую руку.

Лишь общий, отмеченный родовой печатью склад ставит эту лощеную скоропись в одну семью».

Ю. Олеша написал когда-то. «Приглядитесь к почерку Пушкина — кажется, что плывет флот!» Да, сказано с поэтической свободой и точностью, если только иметь в виду перебеленные Пушкиным стихотворные его тексты и письма. Но черновики писем .. какие-нибудь заметки... Истории нашей филологической науки известны имена людей, которым достаточно было бы лишь задержаться взглядом на любом автографе Пушкина, чтобы сразу, без сличения угадать его руку. Но имен этих всего несколько. Любой же из рядовых архивистов, обладающий, как правило, умением отождествить почерк в неопознанном автографе с почерком в автографе известном, положенном рядом, мог бы признаться в минуту откровенности в одном из тайных своих кошмаров: он пуще всего боится не догадаться сличить неизвестной рукой написанный автограф с рукой Пушкина..

— Но для биографии писателя и для истории его творчества важны, наверное, не только рукописи его произведений?

— Личный архив — понятие разносоставное. Материалы его документируют самые разные стороны жизни и деятельности человека. В 1934 году в сборниках «Звенья», служивших специально для издания архивных материалов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века, появилась статья «Новый архив А. С. Пушкина». В первых же строках она оповещала, что «в феврале текущего года Государственный архивный фонд Союза ССР обогатился вновь открытым архивом хозяйственных и семейных бумаг Пушкина, в совокупности составляющих сто документов».

Архив этот, оставшийся после смерти поэта в его семье, не привлек внимания биографа — П. Анненкова. Дальнейшая его судьба — поучительная иллюстрация к тому, что взгляд на ценность рукописного документа, даже связанного с именем Пушкина, сильно изменился на протяжении столетия, а заодно и к тому, каким катастрофам подвержено рукописное достояние наше. В 1890-е годы ящик с разными бумагами поэта при переезде был оставлен его внуками в их имении в Лопасне. Про него забыли; когда в 1917-м семья Г. А. Пушкина вернулась в Лопасню, при раскладывании вещей обратили внимание «на исписанные листы,

которыми была устлана клетка с канарейкой, висевшая в усадьбе. Г. А. Пушкин, убедившись, что бумага исписана рукой деда, стал искать, откуда растаскивались эти листы; тогда только и был обнаружен в кладовой затерявшийся ящик, оказавшийся в уже раскрытом виде, с бумагами, погрызенными мышами, и очевидно было, что часть их уже уничтожена. Основным ядром этих бумаг оказались выписки А. Пушкина для истории Петра I...». Хозяйственные же бумаги хранились в особом портфеле, привезенном теперь в Лопасню. В 1928 году





из него было вынуто 9 бумаг и передано для издания исследователям. После этого «портфель с содержимым куда-то завалился и считался утерянным. Обнаружен он был в темной кладовой за шкафом в 1930 году, когда Пушкины, желая дать образование своему сыну, правнуку поэта, Григорию Григорьевичу, выехали из Лопасни за четырнадцать верст в совхоз «Новый быт» (Давыдково), где находился сельскохозяйственный техникум. По переезде в совхоз портфель вновь затерялся». Он был обнаружен на дне сундука только в октябре 1932 года — при новом переезде — и вскоре передан

в Центральный литературный музей. Рассмотрение бумаг показало, что среди них находился автограф Пушкина — расчет долгов отца и брата, письма к нему управляющего, крестьян, старосты, родовые документы XVIII века, копии некоторых бумаг, использованных Пушкиным в его произведениях.

...Нередко, впрочем, на самих творческих рукописях можно увидеть записи, относящиеся к хозяйственным заботам, а на обороте деловой бумаги обнаружить наброски стихотворных строк.

Эти вечные счеты, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты
Испещренные цифрами черновики.
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом — расходы.

То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный — зато и презренный металл.
Или рощу сажал и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?

А. Кушнер

Если посмотреть на стихотворение А. Кушнера глазами архивиста, такие рукописи являют проблему при их обработке: в какой раздел архива их положить? Как назвать саму рукопись и что обозначить, как приписки, записи на обороте?..

Не только хозяйственные бумаги, но и рукописи великих писателей дошли до наших дней в гораздо меньшем объеме, чем можно было бы надеяться. «Лицом к лицу лица не увидать» — эта поэтическая формулировка, увы, нередко служит легкомысленным оправданием житейской практики. Не увидели, не заметили, не поняли значения и потому теряли рукописи, отданные на хранение, спокойно смотрели, как поэт, тот самый, кто был потом всеми узнан и признан, небрежен со своими рукописями, выкидывает черновики в мусорную корзину. Да, сам он спешит, он пишет новое, у него нередко нет пиетета перед вещью уже созданной, завершенной. Но нет его и у близких, у друзей... Множество рукописей, навсегда погибших для истории литературы и культуры, были уничтожены авторами на глазах родных и знакомых или в непосредственной от них близости — в том же доме, за стенкой, — при молчаливом

их попустительстве. Мы не боимся вызвать скептические улыбки или патетические возгласы насчет святости творческой воли — пусть даже и саморазрушительной. Если бы эти акты разрушения осуществлялись только ввиду благоговения окружающих перед волей автора!.. Если бы, с другой стороны, каждое такое уничтожение было актом сознательной творческой воли. Но нет — история литературы говорит о том, что нередко это акт отчаяния, следствие приступа безразличия к своей судьбе, а со стороны свидетелей — следствие их слепоты к значению дела поэта, акт равнодушия, а не высшего разума и смирения. Архивистам известны и многочисленные случаи, когда рукописи самоотреченно спасали из огня и воды, тщательно берегли, не освобождая себя от выполнения раз и навсегда осознанного долга и во времена тяжелейших испытаний. Для этого необходимо одно — увидеть «лицом к лицу» раньше и острее других, чтобы не уподобиться тому домоуправу, который в рассказе М. Зощенко так заканчивает свою речь о Пушкине: «Это был гениальный и великий поэт. И приходится пожалеть, что он не живет сейчас вместе с нами. Мы бы его на руках носили и устроили бы поэту сказочную жизнь, если бы, конечно, знали, что из него получится именно Пушкин».

Так кому же принадлежат хранящиеся в вашем доме документы? Ответ на этот вопрос один — они принадлежат Истории.

Ответ — один, но он не однозначен, не плосок.

Разумеется, у каждого есть право уничтожить в силу тех или иных причин личные бумаги. Но профессиональная обязанность архивиста — удерживать людей от реализации этого права! Эта коллизия между правом владельца и долгом архивиста полна глубокого напряжения, которое вряд ли может быть радикально снято.

Справедливости ради следует признать — сохранение личных документов требует от человека многого. Прежде всего времени и сил, которые он вынужден отвлечь от своего нынешнего дня для дня уже минувшего — правда, во имя грядущего дня... Но этого мало — требуются еще и определенные душевные качества, и среди них — умение возвыситься над болезненным восприятием отношения к себе других людей, возвыситься даже над перипетиями личной, в высшей степени кон-

кретной судьбы во имя некой абстракции — истории. Когда этого умения не хватает, уничтожаются, скажем, письма, где, кроме каких-то выпадов в сторону адресата, больно ранивших его когда-то и до сей поры чувствительных, содержались важные факты, касающиеся разнообразных событий и судеб, и этими «побочными» сведениями адресат с легкостью пожертвовал. Пожертвовал, как мы видели на примерах, и свидетельствами чужой жизни, и среди них документами таких людей, имена которых уже при их жизни были неоспоримо значимыми для истории отечественной науки и культуры.

Правда, нередко это связано с определенной степенью «архивного невежества», присущего, увы, и людям с высоким образовательным цензом. Мало у кого хватает знаний и воображения, чтобы представить, например, насколько унизительно в глазах будущих архивистов и исследователей положение того, кто с пристрастием вычистил свой архив как для витрины, тщательно отобрав «годное» для истории и уничтожив «негодное» (даже вырезав при этом из документов отдельные слова и строки...). Вот где простор для загадок! Должна была быть переписка с неким лицом — но ее нету. Непременно должны быть отзвуки известного инцидента — однако ж они отсутствуют... Из бумаг архива встает человек, болезненно озабоченный своей репутацией, «подчищающий» свою жизнь задним числом, чтобы в достойном виде предстать перед потомками.

Герой повести Ю. Крелина, молодой хирург, говорит: «Будущего как физической реалии для нынче живущего нет. Во всяком случае, он себе не представляет его серьезно. Мы умрем, и с нами умрет наш мир. Останется мир иной, мир других, и мы не знаем какой. Мы разрабатываем операции при раке (и правильно, конечно), а лечить его будут порошками». Этот герой — не мыслитель, а практик; слишком много думать на отвлеченные, полуфилософские темы — это было бы для него, в сущности, изменой профессиональному долгу, диктующему свои жесткие требования (сфера этого долга с резкой точностью обозначена названием повести — «От мира сего»). Можно продолжить его размышления — да, «мы не знаем какой», и наше представление о будущем должно быть настолько конкретным, чтобы мы могли иметь его в виду, видеть в нем все же некую реальность, — и в то же время настолько абстрактным,

чтобы мы чувствовали себя в его преддверии достаточно свободно, чтобы будущий свидетель нашей — все-таки личной! — жизни не был для нас слишком реальным, кем-то вроде непрошеного наблюдателя, соглядатая...

— Каким же «инструментом» должен пользоваться человек в обращении со своим архивом, коли уж он завел его? Каковы его обязательства перед этим архивом?

— Начнем с простейшего. Задавая разным людям вопрос — хранят ли они письма, — мы получали чаще всего ответ отрицательный и в придачу еще недоумение по поводу самой идеи такого вопроса. Люди технических профессий нередко давали, например, такую мотивировку: «В письме мне важна информация. Когда я ее переварил (иногда сразу, в процессе чтения, иногда — ношу несколько дней письмо в кармане, перечитывая при надобности), письмо теряет для меня ценность, я его выбрасываю». — «Но, может быть, вам захочется когда-нибудь его перечитать?» На этот вопрос наши собеседники отвечали решительно: «Я знаю, что не буду его перечитывать!»

Одно обстоятельство здесь особенно примечательно — убежденность человека в том, что он точно знает сегодня, каким он будет завтра, и с жесткостью подчиняет свое предполагаемое будущее своему настоящему — то есть сегодняшнему своему представлению об этом будущем. Люди этого широко распространенного типа «точно» знают, что именно пригодится им в этом будущем, а что — нет. Они как будто не допускают мысли о возможных существенных переменах в их жизненных обстоятельствах и в них самих, а заодно и о том, что один и тот же текст при новом к нему обращении через какое-то время может выдать новую информацию.

Между тем вместо уверенных слов «Я знаю, что не буду...» уместнее, видимо, было бы сказать себе: «Сегодня мне кажется, что в будущем эти письма не будут мне интересны...», но оставить место и для другой возможности. Выбор этих возможностей осуществит только будущее. Наша же задача по отношению к собственному будущему — не только стремиться достичь некоего мыслимого нами сегодня «идеального» положения своих дел (чем занято так или иначе большинство людей), но

и оставлять некий простор для удовлетворения тех своих интересов, о которых сегодня мы и не подозреваем. Предусмотреть хоть минимальный, как сказал бы портной — припуск на швы, без которого никакой костюм не сошьется или выйдет так тесен, что не придется и носить.

В этом смысле представляется более «правильным» рассуждение такого примерно рода: «Люди разных эпох сохраняли свои бумаги... Быть может, в этом что-то было все-таки, хотя мне сегодня кажется все это ненуж-





ным?..» Подходить к будущему с меркою только сегодняшнего, мимотекущего дня — это значит чаще всего не думать ни о прошлом, ни о будущем, тогда как человек, размышляющий о прошлом, включает себя в поток исторической жизни и тем самым ближе становится к построению такой модели будущего, которая хоть вряд ли сможет предвосхитить его, но продиктует зато правильные формы исторического поведения сегодня. Ощутить по-настоящему сегодняшний день, сегодняшнее свое существование можно, только выйдя за его пределы.

Об этом писал в 1930 году Ю. Тынянов: «Всего труднее заставить человека поверить в факт, факт его существования.

Не то чтобы он не чувствовал, что существует: он чувствует свое дыхание, свое тепло, иногда и чужое, он носит свое тело, в нем проходят мысли, он работает, — вещь рождается у него под руками. Но на сколько верст в окружности существует он, на сколько лет? Смотря кто. Есть диаметр сознания. Интерес к прошлому одновременен с интересом к будущему. Человек из записной книжки Чехова взглянул на похороны: вот ты умер, тебя хоронить несут, а я завтракать пойду. Этот человек, конечно, может сказать и о будущем: вот ты не родился еще, и у тебя нет фамилии, а я сейчас завтракать пойду».

Этот «диаметр сознания» велик у поэта. У него не только интерес к прошлому и к будущему, но не прерывающаяся прямая с ним связь; так же отчетливо, как чувствует он «свое дыхание, свое тепло», он знает: «На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло». Мысль о той жизни, которая текла или будет течь без него, для него естественна. В стихотворении «Тебе — через сто лет» М. Цветаева с такою страстью говорит со своим будущим читателем, что в его реальности и прочной связанности с сегодняшней жизнью поэта усомниться невозможно. Само писание стихотворения уже предполагает будущего читателя; в одно и то же время оно и мотивировано фактом его долженствующего существования, и прямо воздействует на осуществление самой этой возможности. Эта прямая зависимость выразилась в дневниковой записи М. Цветаевой: «Вчера целый день думала о том — через 100 лет — и писала ему стихи. Стихи написаны — он будет». Напомним и статью О. Мандельштама «О собеседнике», где показано, что существование этого отдаленного во времени читателя как бы заложено в самой структуре стиха, вращено в нее. Цитируя строки:

И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я... —

он поясняет: «Проницательный взор Баратынского устремляется мимо поколения, — а в поколении есть друзья, — чтобы остановиться на неизвестном, но определенном «читателе»...» Дело, оказывается, в том, что

«обращение к конкретному собеседнику обескрыливает стих, лишает его воздуха, полета. Воздух стиха есть неожиданное. Обращаясь к известному, мы можем сказать только известное». Поэт знает, чувствует, ощущает ежечасно — он не просто останется в памяти живущих, но само слово его останется на их устах, его словами будут они говорить о себе.

Я младший из семьи
Людей и птиц, я пел со всеми вместе
И не покину пиршества живых —
Прямой гербовник их семейной чести,
Прямой словарь их связей корневых.

А. Тарковский

В массовом сознании в отличие от поэтического господствует сегодняшний день. «...И некогда нам оглянуться назад» — нивелирующая песенная форма, делающая банальным даже небанальное, облекла здесь вполне справедливое горестное наблюдение над ежедневным опытом современника. Ни оглянуться назад, ни заглянуть вперед, ни взглянуть на сегодняшний день — извне; и оценки этого дня автоматически распространяются на будущее.

Именно фетишизация нынешнего дня с его оценками сказывается в том, как решительно обходятся люди с документами, отразившими этот день или дни давно минувшие. В сегодняшнем массовом сознании «старое» нередко отождествляется с «ненужным». Молодой человек, едучи на машине по узким улочкам, говорит: «И что эти дома здесь стоят, кому они нужны? Старые! Снесли бы их — построили бы новые, современные...» Здесь важно то, что проблема большей или меньшей ценности «старого» перед ним не встает — она вся уже исчерпана противоположением «старого» — «новому» Это простейшее умозаключение («старое — значит, ненужное»), прочно основанное на невежестве, попадая в определенные сферы деятельности, становится силой разрушительной. В районной библиотеке идет чистка фонда. «Что вы выкидываете?» — «А старые книги!» — «Это в каком же смысле «старые»?» — «Ну, которые вышли давно!» Это были книги двадцатых годов нашего века; многие из них были библиографической редкостью.

И уж безусловно «старое-ненужное» — все эти связ-

ки старых писем, выцветшие коробки, набитые бумажками — счета не счета, какие-то записки...

Старая генеральша в одном из самых ранних рассказов В. Катаева «Сигары его превосходительства» (1923) роется в ящиках своего туалетного столика, пытаясь найти что-нибудь для продажи, перетирая ту «не имеющую никакой ценности дрянь, которой всегда бывают набиты коробки и ящики женщин ее возраста. Пачки порыжелых писем, перевязанные лиловыми ленточками и слабо пахнущие хорошими французскими духами, бархатные альбомы институтских стихов, рыжие глянцевые фотографические карточки... Распорядительские бантики, ветхие, истлевшие афишки оперных премьер, напечатанные старинным жирным шоколадным шрифтом...». Здесь с резкостью выражен тот ценностный взгляд на «пачки порыжелых писем», который вполне соответствовал тогдашней общественной атмосфере, порожденной всей совокупностью социальных изменений. Сейчас это явный анахронизм, и все же опыт показывает: никогда нельзя быть уверенным, что после смерти непосредственного владельца писем, имеющих бесспорный исторический интерес, не раздастся звонкое восклицание молодых наследников: «Вот где пыль-то копилась!» И все будет отправлено на свалку. А молодые люди дадут себе слово жить по-новому, не копить эту рухлядь, не разводить пыль.

В жизни общества, как и в жизни отдельного человека, бывают периоды преобладания то одного, то другого типа отношения к «вечной» теме жизни и смерти, молодости и старости. В тридцатые годы смерть литературного героя наступала только от вражеской пули или, по крайней мере, от старых ран, но никак не от старческих немощей. Некрологи тех лет оптимистичны и полны энергичных призывов, обращенных к живым, вполне соответствуя канонам тогдашней средней литературы. Долгая, на много страниц развернувшаяся смертельная болезнь главного героя в романе Л. Леонова «Дорога на океан» воспринималась на этом фоне как неожиданность, как исключение.

Разговоры же о смерти считались вовсе непристойным занятием для литературного героя. Подводить итоги уходящей жизни, отдавать близким распоряжения на случай непредвиденных трагических обстоятельств — все это не вышло, разумеется, из обихода вовсе, но

оставалось чертой сугубо частной жизни людей, уйдя за пределы сферы общественного внимания. В сознании большинства такого рода распорядительность могла трактоваться не иначе как смешной и подозрительный предрассудок, как пережиток навсегда ушедших времен и обычаев.

В тридцатые годы смерть нередко становится материалом для пародийного, сатирического обыгрывания. «Тут недавно померла одна старуха. Она придерживалась религии — говела и так далее. Родственники ее отличались тем же самым. И по этой причине решено было устроить старухе соответствующее захоронение»; «На этот раз позвольте рассказать драматический эпизод из жизни умерших людей» — так начинались многие рассказы М. Зощенко трицатых годов, точно фиксируя характер общественного отношения к предмету, к тому, в каком обличье пристало появляться этой «неуважаемой» теме перед глазами читателя газет и журналов.

Героями литературы тех лет были молодые люди, наслаждающиеся здоровьем, спортом, работой. Не только смерть, но и старость была отодвинута на периферию литературы; ее проблемы не интересовали ни писателей и публицистов, ни нового массового читателя. Старое было приравнено к вымирающему, и процесс вымирания не должен был занимать ничьего внимания. Старик мог появиться среди литературных персонажей тех лет разве что в гриме («Тимур и его команда» Гайдара, где в гриме репетирует роль старика молодой и вполне спортивный инженер Гараев) или в непрезентабельном виде безвредного чудака (если не вредного брюзги), оставшегося от старого режима и по ошибке задерживавшегося в не принадлежащем ему настоящем. «Вот кому я не завидую — это старухам, — не понижая из деликатности голоса, с уверенностью во взаимопонимании читателей-современников возглашал обычный зощенковский герой и рассказчик, полноправный выразитель обыденного сознания. — Вот старухам я, действительно верно, почему-то не завидую. Мне им, как бы сказать, нечего завидовать».

Молодость и старость перестали быть равно естественными биологическими явлениями, разными ступенями одной и той же человеческой жизни. Молодые яв-

но не собирались стареть. Старость находилась под подозрением. В расчеты живых смерть, во всяком случае, никоим образом не входила; будто условились считать смерть каждого человека неким казусом и, во всяком случае, его глубоко индивидуальным делом, не касающимся других. В соответствии с этим литературные герои тех лет, убежденные атеисты в теории, на практике как бы руководствовались верой в личное свое земное бессмертие.

Война выдвинула вперед совсем иные заботы; с самого ее начала смерть, быстрым и трагическим образом расширив свои права над человеческим существованием, приобрела их в литературе, где эта тема получила естественные для общественных нужд того времени очертания — смерть ради победы, ради жизни остающихся в живых... В поэзии и прозе тех лет явились герои разных возрастов, равно вовлеченные в схватку жизни и смерти. В конце 40 — начале 50-х годов стала заметна литературная ориентация на героев возраста зрелости, достаточно долгого житейского и профессионального опыта. Главные и любимые авторами персонажи тогдашних повестей и романов были обычно люди тридцати пяти — сорока лет. Они были заняты налаживанием послевоенного производства и о смерти не размышляли.

Помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела!

Эти песенные строки стали лейтмотивом того общественного настроения, которое особенно настойчиво фиксировалось литературой и кино. Те, кто вернулся живым, казалось, приговорены были отныне к вечной жизни. Печально предсказывающие строки «Мы не от старости умрем — от старых ран умрем» (С. Гудзенко) были редкими в поэзии и прозе тех лет — как и ноты реквиема погибшим, прозвучавшие в стихотворении М. Исаковского, ставшем песней: «Прости меня, моя Прасковья, Что опоздал к тебе домой! Хотел я выпить за здоровье, а вот пришлось за упокой...» Даже герои «Звезды» Э. Казакевича в кинофильме, поставленном по повести через несколько лет, уже не погибали. Смерть от старости — не от ран, мысль о естественном подведении итогов, о расчете со своей жизнью, совершаемом не под влиянием драматических

обстоятельств, а в урочный час, — эта тема не успела войти в литературу как полноправный ее материал; за долгие послевоенные годы не восстановилось нужное для потребностей истории отношение к личным бумагам.

Примечательным образом в фильме «Запасной игрок» (1954 г.) с актером П. Кадочниковым в главной роли вышел на экран бодрящийся старик, вызывающий даже футболиста на боксерский поединок! — но, как в довоенные годы, герой оказывался в конце концов молодым спортсменом в гриме старика...

В конце пятидесятых годов литература — снова! — резко омолодилась. Героями ее стали люди, только начинающие жизнь и со страстью отыскивающие свое в ней место; поиски эти полемически противополагались опыту прошлых поколений; эта полемика помогала молодым уяснить себе настоящее и определить свое будущее, рисовавшееся бескрайним и прекрасным, как и положено то в юности.

В 1957 году Ю. Казаков описал девяностолетнюю старуху Марфу — едва ли не первую среди многочисленных своих литературных ровесников и ровесниц (большей частью почему-то именно ровесниц!), число которых особенно увеличилось к концу последующего десятилетия.

Сначала герои эти помещались где-то с краю главного действия, но вскоре заметно переместились в центр рассказов и повестей. Если в середине пятидесятых годов несомненно новой для слуха современников нотой прозвучали строки стихов о стариках («Умирают мои старики. Мои боги, мои педагоги...» или «Старух было много, стариков — было мало, то, что гнуло старух, стариков — ломало...»), то теперь старость стала полноправной литературной темой, старики изображены были с тем вниманием, которое им давно не выпадало.

Характерно, что многие нынешние авторы заставали своих героев преимущественно в последний их час или накануне его (одна из повестей В. Распутина так и называлась — «Последний срок»), в момент того расчета с земной жизнью, которого так и не успевали совершить литературные герои прежних лет. Но мысли о пределе своей жизни являются не одним старикам — они становятся частью идущей еще, полной и деятельной

жизни и даже ее условием, вдруг обнаружившим свою необходимость: «...Ну а другие-то, живые-то люди? — вопрошает самого себя герой повести В. Белова. — Гришка, Антошка вон? Ведь они-то будут, они-то останутся? И озеро, и этот проклятый лес останется, и косить опять побегут».

По-видимому, такого рода рассуждения и могут продиктовать «правильные» с исторической точки зрения формы житейского поведения. В этом смысле забота о судьбе своего — пусть даже малого — архива должна занять свое место в размышлениях о том, как отзовется наша — долгая ли, краткая ли — жизнь за чертою личного существования. Но здесь обыденное мышление, повседневная житейская практика наших современников сильно разошлись даже с тем уровнем обиходной житейской философии и начатков исторического сознания, который уже зафиксирован литературой последних лет.

Сознание многих людей все еще заворожено сложившимся в предвоенные десятилетия отношением к личным своим бумагам. Старая привычка «приводить в порядок свои дела», с младых ногтей укоренявшаяся когда-то в сознании человека, давно, к сожалению, вышла из обихода. Не будем говорить здесь о причинах, которые привели к ее разрушению. Их немало, и любой из читателей сразу перечислил бы некоторые из них. Мы только констатируем факт, печальный для архивиста и в конечном счете для истории нашего общества. Архивы XVIII и XIX веков показывают, что почиталось за правило не только у старых, но даже у молодых людей быть готовым к этому часу во всякий момент своей жизни; естественным долгом самоуважения было как можно раньше определять свои отношения с близкими и с обществом на случай этого часа. Мы говорим здесь не о завещаниях относительно движимости и недвижимости, актуальность которых для наших сограждан-современников справедливо может быть оспорена и которые, во всяком случае, выходят за границы и темы нашей и компетенции, но в первую очередь о распоряжениях относительно архива. У многих на памяти сцена из «Войны и мира», где старый князь Болконский прощается с отправляющимся в армию сыном. «Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь. — Должно быть, мне прежде тебя

умереть. Знай, тут мои записки, их государю передать после моей смерти. Теперь здесь вот ломбардный билет и письмо; это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки, после меня читай для себя, найдешь пользу.

Андрей не сказал отцу, что, верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно. — Все исполню, батюшка, — сказал он». Каким странным выглядит этот разговор на фоне сегодняшнего быта!

«Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!»

Вот эти снисходительные разъяснения, которые дает Воланд из «Мастера и Маргариты» М. Булгакова безмятежно уверенному в своем будущем дне Берлиозу, звучат, увы, свежо и актуально. Каждый уверен, что рано, все еще рано отдавать распоряжения, разбирать архив, находить подходящее место для его хранения...

Очень многие страшатся этого занятия, видя в нем событие экстраординарное, напоминающее некое опасное подведение итогов. Если бы человек с детства привык считать подобные заботы непременною составной частью жизни, он не чурался бы этого занятия, поскольку оно казалось бы ему достаточно обыденным.

Этим удивительным безразличием одинаково охвачены не только люди, далекие от мыслей о важности личных ли своих, семейных ли бумаг, но, что особенно сожалительно, и те, кто заведомо знает цену своему архиву, — люди искусства, ученые. Глубоко увлеченные своим делом, они забывают о столь важной его части.

Как показывает работа архивиста, наши современники покидают жизнь, не только не успев отдать последних распоряжений, но, как правило, и не поставив себе ясную задачу их обдумывания. Их близким остается еще и мучительное гадание о том, какова была воля умершего относительно его бумаг.

Результаты этого чаще всего плачевны. Даже если бумаги находят в конце концов свой путь на полки хранилища — чаще всего это уже не целостный архив, отражающий все этапы жизни и все роды занятий фондообразователя, а лишь часть его. Архивы разрушаются,

разрозниваются; уничтоженным или потерянным оказывается именно то, что особенно бережно сохранялось человеком при жизни; важные черты личности и деятельности его самого и тех людей, с которыми сводила его судьба, безвозвратно утрачиваются, унося с собою и драгоценные, невосполнимые факты истории; память стирается, и воцаряется забвение.

Между тем сбереженные людьми в двадцатые и тридцатые годы личные архивы принесли в архивохранилища — а значит, нашей науке — не только материалы, связанные с жизнью этих лиц. Не так давно журнал «Советские архивы» с тревогою писал о том, что многие факты деятельности наших общественных организаций могут остаться неизвестными будущим историкам: «Если сохранность материалов первых трех групп общественных организаций (Коммунистической партии, профсоюзов, комсомола) не вызывает беспокойства, то комплектование государственных архивов документальными материалами кооперативных организаций и особенно добровольных обществ и союзов оставляет желать много лучшего». В полном объеме эти материалы в архивы не поступали никогда, в результате оказались распыленными, а многие утрачены и, видимо, навсегда. Среди таких исследователи называют материалы Всероссийской ассоциации инженеров, Русского горного общества, Русского химико-физического общества. В государственных хранилищах отсутствуют также документы Общества московских художников (1909—1932), основателем которого был П. Кончаловский, Общества художников и скульпторов «Бытие», общества «Четыре искусства» (1924—1932), Общества художников-станковистов (1925—1932)... По данным Наркомата просвещения РСФСР на 1 октября 1923 года, только в системе Главнауки числилось научных, художественных обществ и обществ охраны природы 394. Где же искать нынешнему исследователю следы этой деятельности? Едва ли не исключительно в личных архивах. Материалы активно действовавшего Русского общества друзей книги (1920—1929) находим мы ныне только в архивах его членов — С. Кара-Мурзы, Н. Орлова. В фонде Николая Николаевича Орлова (1898—1965), секретаря Русского библиографического общества при Московском университете, сохранились материалы к библиографическому словарю членов этого общества — авто-

биографии, списки трудов, служебные документы и даже собрание их портретов. У него же уцелело собрание отчетов, повесток, пригласительных билетов Русского библиографического общества (еще один комплект материалов этого общества сохранил в своем архиве умерший в возрасте 94 лет Б. Боднарский — старейший библиограф и книговед), Кружка любителей русских изящных изданий, Русского общества друзей книги, Российского общества децималистов, Русского библиологического общества — важные источники для исследователя истории книговедения и библиофилии в первое пореволюционное десятилетие.

Вся эта огромная и важная для истории область рукописного наследия человечества — архивы отдельных лиц и собранные разными людьми коллекции рукописей — в значительной степени выпадают из рассмотрения, пока речь идет только о государственных и ведомственных архивах.

Действительно, архивы во всех странах издавна являлись учреждениями, сложившимися в результате административной деятельности, и принималась туда почти исключительно официальная документация. Как правило, туда не поступали личные и семейные архивы — то есть собрания документов частного происхождения, накапливавшихся в домах частных лиц. Исключения делались только для архивов государственных деятелей, полководцев, дипломатов или же монархов — тогда, когда их время уже становилось историческим, как эпоха Петра I в годы царствования Николая I, — что и позволило А. Пушкину смотреть петровские бумаги в государственном архиве. Правда, значительная часть семейных документов членов царствующей династии оставалась фамильной собственностью и в государственные архивы не попадала.

— Где же хранились архивы людей, не состоявших на государственной службе, — писателей, ученых?

— Среди тех архивов, которые, находясь при каком-то учреждении, хранят свои постоянные — и притом еще все время пополняющиеся, документальные фонды, есть один, который мог бы поспорить объемом и богатством собранных в нем материалов с государственными архивохранилищами.

Это Архив Академии наук, основанный 6 января 1728 года. Тогда он был назван Конференц-архивом —

поскольку общее собрание академиков, решавшее на своих заседаниях разнообразные научные вопросы, носило название конференции. При нем был также и архив Канцелярии Академии, сохранявший протоколы заседаний и прочную деловую документацию — то есть то же самое, что собирается всяким ведомственным архивом. Было, однако, существенное отличие: своим чередом шли в Конференц-архив после кончины академиков документы из домашнего их архива. Иногда за бумагами этими снаряжались посыльные в отдаленней-





шие места России — если академику случалось умереть в экспедиции. Рукописные труды академиков, материалы конференции и бумаги из личных архивов хранились в связках. Зимою 1747 года во время известного пожара Кунсткамеры большинство этих связок было спасено от огня и с самоотвержением вывезено академиком Г. Миллером на санях к себе домой.

Но главными хранилищами личных архивов писателей, ученых, людей искусства с давних пор были библиотеки. Почему? Да потому, что когда библиотеки

были еще собраниями рукописных книг — они естественным образом собирали и другие рукописи, и по большей части литературного характера: произведения писателей, их письма, которые издавна расценивались как плод литературного творчества.

Кстати сказать, таковы же были и частные библиотеки — манускрипты являлись их непременной составной частью. В библиотеке Вольтера, купленной Екатериной II и привезенной после его смерти в Петербург, хранились собранные писателем по всей Европе рукописные исторические материалы о Петре I. Николай I наложил запрет на чтение книг Вольтеровой библиотеки, хранившейся в Эрмитаже, кем бы то ни было. Первым, кому позволено было работать в ней и делать выписки, был А. Пушкин, его материалы к «Истории Петра» сохранили следы работы над рукописными источниками.

Уцелело до наших дней обширное рукописное собрание библиотеки Зимнего дворца (в настоящее время оно — в ЦГАОРе) — множество писем членов императорской фамилии друг к другу, иностранным монархам, некоронованным особам; разнообразные государственные документы, по разным причинам не попавшие в Государственный архив, коллекции рукописей, собранных самими монархами и ближайшими к ним людьми. Одна только опись этих рукописных материалов размещается в нескольких томах и содержит около 4000 названий.

Со временем в публичных библиотеках стали выделяться особые рукописные отделы (тогда как до книгопечатания библиотека в целом, можно сказать, была рукописным отделом). Они существуют в крупных библиотеках всех стран мира: в библиотеке Британского музея в Лондоне, основанной в 1753 году, 200 тысяч единиц хранения рукописей на европейских языках, в библиотеке Конгресса, основанной в 1800 году конгрессом США, 29 миллионов единиц хранения рукописных материалов на разных языках. Есть они и в отечественных библиотеках — в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина в Москве, в Библиотеке Академии наук. Российские библиотеки складывались в течение XVIII—XIX веков, и с самого начала рядом с печатными книгами

ложились на их полки книги рукописные и архивные материалы по истории русской науки и культуры.

Напомним историю одной из них. В 1809 году министром иностранных дел был назначен граф Николай Петрович Румянцев, сын знаменитого екатерининского полководца Румянцева-Задунайского. В его ведении оказался и Московский архив Министерства иностранных дел. Глубоко интересуясь историей России, Н. Румянцев создал так называемый «Румянцевский кружок», занявшийся собиранием, изучением и изданием исторических документов; в кружок вошли замечательные археографы и источниковеды — А. Востоков, К. Калайдович, митрополит Евгений Болховитинов — издатель «Словарей» русских писателей. Н. Румянцев собирал книги, посылал экспедиции в разные российские губернии за рукописными памятниками. Так составилась его замечательная книжная и рукописная коллекция, переданная после его смерти вместе с большим семейным архивом «на благое просвещение». Через пять лет после смерти графа, в 1831 году, в Петербурге был устроен Румянцевский музей. В 1860 году по причине полного обветшания здания директор музея князь В. Одоевский стал предлагать меры по его спасению. Тут и родилась мысль о переводе музея в Москву и основания в Москве публичной библиотеки (в Петербурге в это время была и Публичная библиотека, и Библиотека Академии наук, и библиотеки при музеях, а в Москве только университетская).

Выбор для помещения музея пал на дом Пашкова. В этом и до сей поры одном из красивейших зданий Москвы 1 июля 1862 года была открыта столь нужная городу библиотека со сложным названием — Московский публичный и Румянцевский музеи. Здесь и хранились отныне те редкие и уникальные книги и рукописи, которые впоследствии, когда музей стал Государственной библиотекой, легли в основание отделов редких книг и рукописей. А через десять лет после Румянцевского в Москве был основан (но открыт далеко не сразу) Исторический музей; в музее есть отдел письменных источников, где хранится более трехсот личных фондов — архивы знаменитого московского коллекционера Петра Ивановича Щукина, историка, секретаря Общества истории и древностей российских (существовавшего более века — с 1815 г. — при Московском

университете и издавшего множество ценных рукописных документов) Е. Барсова, обширный фамильный фонд князей Голицыных, где отразились три века — вплоть до начала XX, часть архива историка Д. Иловайского...

Рукописные отделы российских публичных библиотек были гораздо более доступны и для ученых, и для всех, влекущихся к просвещению, чем государственные архивы. Популярность их в интеллигентной среде была велика. «...С утра пошел в Румянцевский музей, — пишет жене Лев Николаевич Толстой 16 ноября 1866 года. — Чрезвычайно интересно то, что я нашел там. И 2-й день не вижу, как проходят там 3, 4 часа. Это одно, чего мне, кроме Берсов, будет жалко в Москве...» (в это время он читал там масонские рукописи для романа «Война и мир»). Не забудем, что именно в Румянцевский музей передали наследники Пушкина значительную часть рукописей поэта (здесь они хранились до 1937 года, позднее отданы были, как и все пушкинские бумаги, в Рукописный отдел Института русской литературы в Ленинграде (Пушкинский дом).

Так и шло на протяжении всего XIX века — российские архивы служили в основном местом хранения государственного делопроизводства, а библиотеки и музеи стали прежде всего хранилищами рукописных памятников, образцов древней письменности, творческого и эпистолярного наследия людей науки и искусства, государственных и общественных деятелей. Это значит, что именно рукописные отделы библиотек и музеев (а также университетов и разных отделений Академии наук) приняли на себя задачу сбережения личных архивов самых разных людей, а также семейных и родовых фондов и коллекций рукописей, собранных в разное время.

Их деятельность сохранила для историков, да и не только для историков, а и всех нас, документы, восстанавливающие те стороны жизни общества, которые не покрываются официальной документацией, — жизнь частных людей, и великих, и рядовых.

— Как попадают в эти хранилища личные архивы?

— Путь архивных документов туда, где предстоит им храниться вечно, бывает неожиданно долог.

Архивы имеют свою судьбу, претерпевают мытарства, перенося житейские передряги, которые пагубно сказываются на их состоянии.

Архив и библиотека замечательного русского ученого, члена географических обществ Франции, Англии, Швейцарии и других стран генерала М Венюкова (1832—1901) были завещаны им еще в 1881 году селению Хабаровке. Только через 10 лет после его смерти, в 1911 году, все эти материалы поступили в Николаевскую публичную библиотеку в Хабаровске.

Долгие годы об архиве М. Венюкова ничего не было известно. Только летом 1937 года библиографом Хабаровской краевой научной библиотеки были обнаружены материалы М. Венюкова. Сведения об архиве появились в печати. В 1955 году Хабаровская библиотека, никогда не имевшая рукописного отдела и, следовательно, условий, необходимых для сохранения рукописей, передала архив в отдел рукописей ГБЛ. Здесь он был обработан, описан, и в 1960 году тонкий знаток документов личных архивных фондов В. Зимина рассказала о его составе в обзорной статье. Итак, протекло более полувека, прежде чем материалы стали





доступны для научного изучения. Но это уже был явно не весь фонд, а лишь часть его, многие важные документы утрачены, по-видимому, навсегда.

Архивы приходят в государственные хранилища неравномерно, непредсказуемо, то через месяц после смерти владельца, то через сто лет, а то и при его жизни. Не всегда приходят они в целостном виде, и оставшиеся их части появляются вдруг перед архивистом тогда, когда уже, кажется, они не могли найтись. Наудачу взятым примером того, насколько разновременно доходят архивы до предуказанного им места на полках хранилища, служит хотя бы история дневников поэта А. Жемчужникова. А. Жемчужников, один из участников знаменитого литературного триумвирата, взявшего себе имя Козьмы Пруткова, начал вести дневник, по-видимому, в 1867—1868 годах и вел его, как правило, ежедневно в течение нескольких десятков лет — вплоть до 1908 года; последняя запись сделана за месяц до смерти. Дневники эти — очень толстые тетради, даже не тетради, а целые тома, заключенные в прочный кожаный или сафьяновый переплет; они изготавливались по специальному заказу автора. До наших дней дошли только четыре тетради — пятая, седьмая, восьмая и девятая — последняя. Это примерно половина всех дневников; архив А. Жемчужникова разрознился по разным собраниям, часть его, несомненно, пропала. Характерная для судеб многих архивов подробность: пятая, седьмая и девятая тетради уже много лет хранились в отделе рукописей ГБЛ, когда весной 1973 года в отдел попала недостающая восьмая...

Оказалось, что она приобретена была когда-то библиографом А. Эйхенгольцем, собиравшим все связанное с Козьмой Прутковым. Здесь время напомнить о таких важных звеньях культурного процесса, как частные коллекции. Именно благодаря одной из древнейших человеческих страстей — страсти собирательства — оказываются нередко спасенными от гибели и части архивов, и отдельные рукописи, «отколовшиеся» от них... Еще важнее, быть может, что в результате деятельности коллекционера собираются в одном месте те автографы поэта, которые заведомо должны были рассеяться, — письма его к разным людям, в том числе и к таким, кто мог и не попасть никогда в поле зрения архивистов, у кого и это письмо уцелело случайно. И не

приди в этот дом коллекционер сегодня — назавтра письмо постигла бы плачевная участь. Книги с дарственными надписями — какое-то время они хранятся у тех, кому были подарены, потом начинают свой путь из одной домашней библиотеки в другую, и след их в конце концов грозит потеряться — и нередко именно в частной коллекции эти «микротексты» поэта, писателя собираются на одной полке и, попадая рано или поздно в архивохранилища (уже в составе данной коллекции!), становятся предметом историко-литературного размышления...

История поступления архива в рукописные отделы растягивается порою на столетие и больше. Сначала бумаги приносят дети, потом внуки, потом дальние потомки, представители боковых ветвей... И среди этих последних, из самых дальних углов старых квартир вытащенных связок, большею частью малоинтересных, может оказаться (и не раз оказывалась) ценнейшая, десятилетиями разыскиваемая учеными рукопись.

Тех мест, где осели личные архивы, немало. В одном Ленинграде это сектор рукописей Русского музея, где хранятся фонды А. Бенуа, М. Врубеля, К. Петрова-Водкина и многих других — 133 фонда художников, искусствоведов и коллекционеров; рукописный отдел Ленинградского государственного театрального музея — фонды В. Комиссаржевской, М. Савиной, Ф. Шаляпина, музей-архив Д. Менделеева; музей-квартира Н. Некрасова на Литейном проспекте — здесь хранится архив семьи Панаевых, полученный в 1966 году из Парижа по завещанию. 96 фондов членов Географического общества СССР хранятся в его научном архиве.

Однако во всех странах, в том числе и в нашей, в последние десятилетия являлась идея организации специальных архивохранилищ для материалов по истории литературы и искусства.

В 1931 году создана была комиссия по организации литературного музея в Москве под началом А. Бубнова и В. Бонч-Бруевича, а в 1933 году комиссия была преобразована в Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики. В 1934 году музей был организован. Директором его стал В. Бонч-Бруевич; с того времени он с необычайной энергией за-

нимался собиранием материалов и весьма преуспел в этом. В 1974 году праздновалось сорокалетие музея, и И. Андроников, вспоминая первые его годы, утверждал: «Никогда ни одно архивное учреждение не получало таких огромных средств на покупку у частных лиц рукописей, музейных ценностей и целых библиотек. Никогда ни в один музей не шли таким могучим потоком автографы, дневники, записные книжки, альбомы, чемоданы с письмами, черновики, документы, воспоминания, рисунки, портреты, книги...» Огромное количество писем в архиве В. Бонч-Бруевича говорит о разветвленной сети отношений с самыми разными людьми — владельцами ценнейших документов, связанных с крупнейшими историческими событиями. Каждая ниточка этих отношений — сюжет для занимательного, а нередко и поразительного рассказа о судьбах людей и документов. Некоторые из них запечатлены в «Летописях» музея (их было издано 12 томов) и в сборниках «Звенья». Отметим здесь, что первый проект создания специально литературного архива принадлежит М. Гершензону. В 1941 году был организован Центральный государственный литературный архив, куда влились все рукописные материалы музея. Теперь (с 1954 года) это — Центральный государственный архив литературы и искусства — главное в нашей стране хранилище архивов писателей, артистов, художников. В «Путеводителях», выпускаемых ЦГАЛИ, — краткие описания фондов Е. Баратынского, А. Блока, Г. Державина, В. Мейерхольда, Н. Обуховой, К. Петрова-Водкина. В ЦГАЛИ хранится крупнейший фонд Вяземских — известный Остафьевский архив, к которому обращаются все исследователи первой половины XIX века, фонд Аксаковых. Здесь же материалы старейших советских писателей — А. Серафимовича, В. Вересаева, А. Неверова, фонды Н. Островского, А. Гайдара, И. Эренбурга, М. Исаковского. Но это не значит, что материалы этих писателей не могут вам встретиться в других архивах — об этом еще пойдет речь. Только для нескольких имен сделано исключение — все автографы А. Пушкина, в какой бы музей или архив ни были они принесены, передаются в Пушкинский дом. Точно так же материалы М. Горького сосредоточиваются в Архиве Горького (в Москве), а рукописи Л. Толстого — в Толстовском музее. О том, где и как

хранятся материалы по литературе и искусству в нашей стране и за рубежом, рассказывала на VII Международном конгрессе архивов, проходившем в Москве в 1972 году, директор ЦГАЛИ Наталия Борисовна Волкова.

— А как с материалами других писателей? Ведь удобнее для исследователей, чтобы весь архив одного лица находился в одном месте.

— Сама история архивного дела сложилась так, что сделала это требование практически невыполнимым. Сейчас в нашей стране более 200 учреждений хранит и собирает личные архивы. Часть материалов какого-то лица владельцы их сдали в один архив, а последующую часть спустя, быть может, полвека или более того — в другой.

Так многие архивы оказались рассеяны по разным хранилищам. В пяти местах хранятся части архива А. Островского, в восьми — имеются большие и совсем маленькие фонды В. Брюсова (хотя основная его часть, составляющая около 300 картонов, хранится в отделе рукописей ГБЛ), в пяти — фонды А. Блока.

Узнать местоположение архива до недавнего времени было крайне затруднительно. Только в 1963 году вышел двухтомный указатель «Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР» (сейчас выходит третий его том), где в алфавитном порядке перечислены имена лиц, чьи фонды находятся на государственном хранении, и указаны архивы, их хранящие. Собрать их в одном месте — значило бы во многих случаях прервать длительную научную и культурную традицию: закономерно, например, что большая часть архива замечательного ученого — академика К. Бэра (1792—1876) хранится в Архиве Академии наук СССР, но не случайно и то, что многие бумаги из этого архива находятся в Историческом музее Академии наук Эстонской ССР — значительная часть жизни и деятельности ученого связана была с Ревелем (нынешним Таллином) и Дерптом (ныне Тарту; там стоит известный памятник Бэру).

А главное — даже если бы все части одного архива свезли в одно место, этим бы вовсе не избавили исследователя деятельности этого лица от необходимости работать в других архивохранилищах. Под рукой у него оказались бы авторские рукописи, биографиче-

ские документы, дневники или записные книжки, письма разных корреспондентов. Но важнейшие материалы для изучения личности и биографии писателя или ученого — его собственные письма к разным лицам — все равно остались бы недоступны такому исследователю: ведь все эти письма разошлись по архивам адресатов, являясь естественной и неотъемлемой частью этих архивов! Даже если архив автора писем и архив его адресата хранятся в одном месте, все равно невозможно перекладывать эти письма из фонда в фонд: разорвут-





ся прочные узы, связывающие эти письма с другими документами, хранящимися в фонде их получателя и, кроме прочего, облегчающими комментарий к этим письмам... Идеальный случай, когда в архиве отправителя остаются копии отправленных писем, но мало кто, увы, ведет свою переписку таким образом. Не только письма, но и отдельные рукописи поэтов, писателей, ученых хранятся нередко не в их собственных архивах, но попробуйте вынуть их оттуда — и потеряете много больше, чем приобретете: иногда сам факт присутствия бумаг одного лица в фонде другого откры-

вает нам ценнейшие факты биографии, историю отношений людей, следы неосуществленных попыток издания, да мало ли что еще!

Взаимопроницаемость архивов разных лиц поистине безгранична. Письма писателей лежат в фондах художников, музыкантов, артистов, рисунки художников — в фондах ученых, а рукописи ученых — в архивах других ученых... Отечественная культура — единый организм, и история ее запечатлена в многочисленных архивах, рассеянных по разным городам и хранилищам, но представляющих собою не огромную механическую совокупность бумаг, а некое весьма сложное единство.

В Рукописном отделе Пушкинского дома хранится архив профессора Семена Афанасьевича Венгерова. Среди прочих бумаг — материалы Пушкинского семинария (чаще его называют по имени руководителя — венгеровским семинарием), который профессор вел в Петербургском университете с 1908 по 1918 год. На каждом заседании этого студенческого семинария по настоянию руководителя велся протокол; там записывалось не только существо прочитанного доклада, но подробно фиксировались прения. Дома протоколист переписывал текст набело, а на следующем заседании оглашал его. Если кому-то из студентов казалось, что его выступление записано неточно, он просил внести поправки. Венгеровскому семинарию суждено было сыграть замечательную роль в истории отечественной науки: через него прошли, а вернее, может быть, будет сказать — из него вышли многие крупные наши филологи: С. Бонди, А. Долинин, Н. Измайлов, В. Комарович, Ю. Тынянов, Б. Энгельгардт... Их рукою написаны эти протоколы, и страстные студенческие споры, самими их участниками запечатленные, приобрели сегодня, спустя более чем полвека, выдающийся исторический интерес.

В протоколах, счастливо уцелевших, и начальные этапы самостоятельной работы молодых ученых (незаменимый материал для их биографов), и больше того, момент рождения новой научной школы — текстологической и историко-литературной. На листах, исписанных старательными студенческими почерками, в сущности, история заботливого, любовного и вдохновенного воспитания молодых ученых их профессором,

с которым они спорили, научные методы которого они во многом опровергли своей дальнейшей работой, но именно его терпимость, его умение увлечься талантом учеников, радоваться их удачам помогли им стать теми, кем они стали. Вот С. Бонди делает доклад о пушкинском «Послании к Дельвигу», заново прочитав рукопись и обнаружив ошибки венгеровского издания. «Собрание приветствует доклад аплодисментами. Профессор С. Венгеров признает ценность доклада и оправдывает ошибку своего издания подделкой пушкинского факсимиле». Вот профессор явно не согласен с докладом одного из студентов, но как осторожен он в своих возражениях, как подчеркивает серьезность работы докладчика, его право на самостоятельное суждение о предмете. Именно в этом архиве обнаружена была во время подготовки к изданию комментированного тома статей Ю. Тынянова рукопись самой ранней его работы — удивительно красивый беловой автограф студенческого реферата о «Каменном госте». До сих пор было известно только одно: что 20 февраля 1914 года Ю. Тынянов прочитал в семинарии реферат на эту тему.

Так где же место этой рукописи ученого — в его собственном обширном (хотя в значительной мере погибшем во время войны) архиве, хранящемся в Москве, в ЦГАЛИ, или в архиве С. Венгерова в Ленинграде? Разумеется, там, где она и хранилась. Ведь попала она туда не случайно, не по ошибке, а по логике вещей: один из главных постулатов архивного дела гласит, что архив данного лица составляют документы, отложившиеся в результате жизни и деятельности этого лица...

Бумаги венгеровского семинария — и протоколы, и рефераты его учеников — отложились в архиве профессора в результате педагогической его деятельности. Там и естественно искать студенческую рукопись Ю. Тынянова его биографу, знающему о том, что молодой ученый работал у С. Венгерова.

Итак, перетасовка документов, переброска их из архива в архив в целях концентрации вокруг какого-то имени или темы — дело невозможное и, главное, ненужное. Это значило бы разрушать естественную структуру каждого фонда и его «корневую систему» — потерять историю его происхождения, отражения которой

всегда можно видеть в самом составе его документов. Выньте из фонда бумаги, связанные с одним каким-то лицом, — и обломана целая ветвь, и оборваны какие-то ниточки, по которым будущие исследователи добрались бы до открытий, которых нельзя предугадать.

— А собираются ли сегодня архивы людей обыкновенных, невыдающихся, но сохранявших, однако, с тщанием свои семейные бумаги?

— Пока в этой области больше вопросов, чем ответов.

Дискуссия в «Литературной газете», начатая в 1977 году статьей «Что мы оставим в наследство?» С. Житомирской, около двадцати пяти лет руководившей Отделом рукописей Государственной библиотеки СССР и едва ли не первой из архивистов привлекшей





внимание научной общественности к проблеме архивов рядовых людей, показала, что даже в среде самих архивистов и вообще деятелей культуры многие очевидные, казалось бы, вещи все еще не осознаны в полной мере. Высказывались, например, предложения отбирать

на хранение документы, руководствуясь «образностью» их языка, а документальные источники, отразившие «порчу современного языка», считать недостойными нашей эпохи и потому не сохранять. (Можно представить себе, с каким чувством прочтут эти предложения будущие лингвисты, которых не в последнюю очередь будет занимать «порча» современного языка — то есть обиход сегодняшней речи!)

Остаются в силе опасности того пережиточного по сути своей подхода к отбору архивов, который можно было бы определить как редакторский, то есть основывающийся так или иначе на литературных достоинствах документов.

Другой подход можно было бы назвать прогрессивно-премиальным... Предлагалось «закрепить за общественными и научными организациями право определять круг лиц, архив которых подлежит вечному государственному хранению. Это было бы и формой признания заслуг человека...».

Между тем взгляд на личный архив как на прямое отражение жизни человека, как на некую параллель его жизнедеятельности, область, где остаются в силе все оценки личности и деятельности человека, функционирующие в течение его жизни, и неверен, и непродуктивен. В том-то и дело, что, оседая в архиве, документ меняет лицо. Бумажка, написанная по пустячному поводу, может обрести совершенно несообразное с этим поводом значение. Судить документ по регалиям его владельца или автора опасно. И, читая: «Творческая активность личности, таким образом, становится пропуском в архив для относящихся к ней документов», приходилось не без неловкости напоминать авторам-архивистам: известные фондообразователи — далеко не всегда наиболее активные деятели. Среди них и люди, лишь наблюдавшие определенные культурные движения, и те, кто пользовался доверием своих «творчески активных» друзей, и те, наконец, кто при жизни был известен одного рода деятельностью, а после смерти выдвинулась вперед сторона совсем другая...

«Я из тех бабушек, которые имеют много писем, записных книжек, дневников, фотографий и т. п., захламляющих дом и мешающих жить бумажек. Но этих бумажек становится меньше после каждой генеральной

уборки, — признавалась наша читательница К. из Ленинграда. — Не раз ставила перед собой вопрос — зачем хранить? Нужно решительно со всем расстаться, так как все эти бумажки имеют ценность только для меня, среднего специалиста — инженера, химика советской школы».

Желая «проконсультироваться по вопросу подготовки к сдаче и о порядке сдачи в архив личных документов», К. писала: «Еще раз обращаю внимание, что среди моих близких и друзей нет знаменитостей, известных имен, но жила я в очень интересное время, и ни одно событие в нашей стране не прошло без того, чтобы не остался след у родственников и друзей и каким-то образом не коснулся меня».

Письма эти побуждают архивистов и особенно теоретиков архивоведения (которых еще очень немного) к разработке принципиальных положений и в то же время остро формулируют такие вопросы, адресованные к самой практике архивного дела, не на каждый из которых можно сегодня (а может быть, и когда-либо) ответить однозначно и безапелляционно.

«Предположим, я имею намерение сдать свой личный архив в фонд некой библиотеки. Смогу ли я или мои как дальние, так и близкие родственники в нужный момент воспользоваться им? Смогут ли со временем пополнять «звено» моего архива мои потомки или дальние родственники моего рода? В каждом ли городе принимаются на хранение гражданские архивы? Гарантируется ли полная тайна рукописей при непредвиденных обстоятельствах? И не будет ли архив служить орудием против самого владельца, а для потомков черным пятном в их жизни? Мыслимо ли содержать весь этот колоссальный материал простых смертных, если взять во внимание, что все это будет сохраняться не одну сотню (тысячу) лет и все время пополняться? Ведь со временем каждый уважающий себя гражданин захочет оставить свой «след», если не для истории, то хотя бы для своих потомков, в Государственном семейном архиве?..»

Личность автора этого письма вызывает интерес уже самой настойчивостью его размышлений о будущей жизни его рода, несомненным ощущением историчности частного своего существования, ощущением связи времен, где жизнь его и его родных, запечатлевшаяся

в семейном архиве, представляет пусть маленькое, но нерушимое звено. С достаточной мерой уверенности можем сказать ему, что владелец архива и его родственники обычно имеют доступ к сданным им архивным материалам, равно как сохраняют право пополнять этот архив теми документами, которые будут признаны научной экспертизой заслуживающими хранения. Вместе с тем мы не считаем возможным скрывать перед своим читателем то обстоятельство, что на некоторые из заданных им вопросов архивная наука и практика ясного ответа еще не имеет, на некоторые же корректнее всего, по-видимому, ответить вопросом встречным: известны ли нашему читателю такие жизненные ситуации, которые дают стопроцентную гарантию от любых злоупотреблений «при непредвиденных обстоятельствах»? Надо полагать, что поиски абсолюта невозможны в области размышлений на избранную нами тему.

Ясно, однако, что сегодня, когда вступил в силу «Закон об охране и использовании памятников истории и культуры» и предполагается помощь каждого члена общества в его реализации, необходимо не только широкое разъяснение ценности письменных документов минувшего и текущего времени (не владеющий же хотя бы начатками архивной грамоты человек участвовать в сохранении такого рода памятников не сможет просто потому, что «не узнает» их, даже увидя прямо перед собой), но и широкая гласность по отношению к деятельности нынешних архивов, музеев, рукописных отделов библиотек, университетов, институтов. Необходима квалифицированная и общедоступная информация справочного характера — чтобы любой человек, открыв некий справочник, мог представить себе, в какое именно архивное учреждение можно предложить сегодня архив актрисы, математика, врача, изобретателя... Многочисленные письма читателей первого издания настоящей книги убедили нас, как велика потребность в этой информации, а также и в сведениях о возможностях работы в тех или иных архивохранилищах. Особенно важно это для тех, кто живет далеко от центральных архивов.

Читатель П. из Сыктывкара писал: «Мне кажется, что в книге отсутствует весьма существенный раздел о доступности-недоступности архивов, о процедуре

попадания в них», и, задавая конкретные вопросы о доступе к тем или иным материалам в разных архивохранилищах страны, заключал: «Подставить на место «я» одного, другого, пятого конкретного потенциального читателя Вашей книги и проиграть ситуацию для него — вот и получится целая глава...» Цели этой книги — иные, но сведения такого рода могли бы постоянно публиковаться в журнале, которого у нас еще нет, но который необходим: исторический научно-популярный журнал типа «Русского архива» или «Былого». Кроме обширных публикаций писем, дневников, мемуаров, в нем нужны будут страницы, специально отведенные для вопросов читателей, связанных с розыском разнообразных сведений, касающихся архивов, и ответов опытных архивистов.

Репутация архивохранилища в широких кругах нашей общественности формируется ежедневными действиями каждого его работника, малейшие ее колебания могут отозваться не только в настоящем, но и в будущем нашей науки. Сегодня архивист по небрежности, недостаточной осведомленности и т. п. отказывает читателю в возможности ознакомиться с рукописью, необходимой для научной работы, а назавтра кто-то из владельцев ценных документов уже колеблется в принятом было решении передать их в этот архив, уже сомневается — дойдут ли его рукописи до ученых? И переубедить его порою бывает трудно, дело отодвигается на годы, а там приходит известие, что человек умер, бумаги погибли или след их потерян... Собрать, сохранить и использовать в интересах науки и культуры — чем наглядней, очевидней для общественности будет нераздельность этих функций отечественных архивохранилищ, тем больше документов удастся спасти от гибели, ввести в научный и общекультурный оборот.

Но вернемся к документам, значение которых еще неочевидно.

Перед сознанием каждого человека, размышляющего сегодня о путях закрепления исторической памяти, встают проблемы, ранее не выдвигавшиеся с такой остротой. Семейные архивы существовали издавна; множество семей сохраняло свои бумаги, не задумываясь о том, представят ли они интерес для будущего историка, гораздо более живым и, главное, нимало не под-

вергавшимся сомнению было ощущение необходимости этих бумаг, запечатлевших историю частной семьи, для ее собственных членов — для детей, внуков и правнуков. И бумаги эти, заметим, попали в государственные архивохранилища не «в первом поколении» и даже не во втором, а нередко и не в третьем; как правило, в личных и семейных архивах, большая часть которых оказалась на государственном хранении в течение первой половины нынешнего века, представлено, как уже говорилось, несколько «слоев» исторической жизни. Сегодня на глазах утрачивается традиция сохранения домашнего архива — сохранения усилиями и желанием членов семьи. А коли утратится эта традиция, этот культурный навык, то подавляющее большинство архивов не доживет до момента, когда они приобретут бесспорный исторический интерес и будут приняты на хранение государством. Читатель С. пишет нам: «Ваш призыв — это «Врата Истории», широко распахнутые перед простыми смертными. Многие, к сожалению, пока этого недопонимают. Но придет время, и «врата» эти захлопнутся». Мы исходим, однако, из уверенности в обратном — в том, что со временем, когда решатся многие научные и технические проблемы, расширится во много раз площадь хранения и внедрятся современные средства обработки документов и информации о них, — эти врата не захлопнутся, а распахнутся гораздо шире, чем сегодня. И каждый «простой смертный» должен сегодня задумываться о том, будет ли что ему, его детям или внукам принести к этим вратам.

Понятие семейного архива должно, по глубокому нашему убеждению, войти в повседневную жизнь любого дома, где есть грамотные люди. Да, для того чтобы сохранять семейные документы, не нужно никаких специальных знаний, кроме умения читать и писать, и никаких необычных навыков, кроме элементарной аккуратности, которой обладает хозяйка любого дома, — уменья более или менее поддерживать однажды заведенный порядок. Мы совсем не призываем хранить каждую бумажку — квитанции, старые расчетные книжки, товарные чеки и прочее. Во всяком случае, в доме должны сохраняться из поколения в поколение письма, дневники, фотоальбомы, любые мемуарные записи...

Но где же все это хранить? За настойчивыми просьбами авторов некоторых писем указать им место, куда они бы могли сдать свой архив, стоит безмолвный этот вопрос, стоит раздражение домашних и довольно устоявшееся обиходное представление о хламе, без нужды загромождающем и без того тесную квартиру, а то и комнату... Все упирается в вопрос о том, что человеку нужнее в жизни и чем, следовательно, заполнит он свои, часто действительно скудные метры жилой площади. Коллекционера, например, нимало не смущает, что его дом напоминает иногда запасники музея или небольшое архивохранилище. У него и вопроса такого нет — хранить или не хранить то, что составляет важнейшую часть его существования. Сохранение же семейного архива, где переписка обычно не исчисляется тысячами писем, во всяком случае, не может решительно изменить облик интерьера.

Существуют, кажется, анкеты, вопрошающие: «Какие десять необходимых предметов вы взяли бы с собой на Луну?» Мы же задаемся иным вопросом — что вы берете с собой на Земле? И не скроем, пытаемся в меру сил своих повлиять на выбор этого — действительно поневоле ограниченного — числа необходимых для земной жизни предметов.

Все мы заинтересованы в том, чтобы предметы, окружающие нас — на улице, на службе, в собственном нашем доме, — облегчали нашу жизнь, но само по себе это облегчение еще не должно вызывать ни восторга, ни пренебрежения. Для тех же, кто уверен в самодовлеющей силе просторного и красивого интерьера, целиком ориентированного на то, чтобы доставлять радость глазу и облегчать быт (а также и для тех, кто не разделяет этого взгляда), любопытны будут признания одного из известнейших современных дизайнеров Д. Нельсона: «От одержимых людей, время от времени атакующих меня, остается впечатление, что если бы человек мог жить в хорошем современном доме, с современным интерьером, жизнь каким-то образом стала бы очень полной и прекрасной. Поскольку по роду своей деятельности я занимаюсь проектированием домов, интерьеров и предметов, то, по идее, такие заявления должны были бы доставлять мне большое удовольствие. На деле же этого никогда не бывает. Я не могу поверить, что жизнь настолько проста, что ее может преобразовать

какое угодно новое украшение. Альберт Эйнштейн жил в унылом, скудно меблированном домишке (судя по фотографиям) в одном из переулков Принстона. Можно ли представить себе, что современный «хороший дизайн» сколько-нибудь обогатил бы или углубил жизнь этого человека? А Пикассо? Пикассо мог бы в любой момент заручиться услугами лучшего в мире архитектора. У него было три дома, и ни один из них нельзя назвать хорошим или современным. Брак живет в простой нормандской избе. Матисс много лет жил в номерах загородной гостиницы. А ведь это все необычайно восприимчивые люди, полностью отдающие себе отчет в происходящем. Вряд ли их можно обвинить в том, что они не понимают значения «хорошего дизайна». И все же как потребители они его игнорируют... «Хороший дизайн» — не витамин и не сульфапрепарат. Он проявляет свою полную силу лишь тогда, когда с ним имеет дело личность, способная понять то, что дизайн сообщит, и насладиться им. Но такая личность не нуждается в дизайне для своего обогащения, ибо она без этого богата...»

Для того, по-видимому, и нужно делать быт удобнее и легче, чтобы «легче» было развертывать духовные свои возможности, но не для того же, чтобы высвобождать место и время для все более и более удобного и красивого быта. Человеку недостаточно иметь дело только с явлениями цивилизации (в которой целиком укладываются разнообразные «удобства» быта); он должен сближаться с культурой и, в меру сил своих, с духовными ценностями еще более высшего порядка, которым, в сущности, невозможно подобрать наилучшее оформление — да они и не нуждаются в нем. А для компактного хранения бумаг вполне могут быть найдены удачные дизайнеровские решения. И если в разнообразных рекомендациях по оформлению современного интерьера, которые так часто мелькают сейчас на страницах журналов и книг, нам ни разу не встретились советы, касающиеся хранения личного архива (впрочем, и рекомендации относительно домашней библиотеки чаще всего почему-то рассчитаны приблизительно на то количество книг, которое необходимо восьмилетнему нормально развивающемуся ребенку), то, надо надеяться, это дело времени...

Хранение семейного архива в большей или меньшей

степени коснется разных членов семьи; дети, во всяком случае, должны приучаться мыслью к тому, что бумаги надо хранить, что нельзя их выбрасывать вместе со старой обувью. Пусть они понимают необходимость потесниться ради старых книг и бумаг. Сбереганиe этих бумаг может быть трудным, но не должно быть докучливым и раздражающим, а напротив — обогащающим. В прежней семье, где несколько поколений жило вместе, представление о пластах истории являлось само собой: оно рождалось из детских наблюдений наглядно различного жизненного уклада людей разного возраста, собравшихся в одном доме, из созерцания старинных предметов, стоявших на дедушкином столе, и слушанья его рассказов о временах своего детства и молодости. Теперь для прививания чувства истории с ранних лет нужны особые усилия, на которые, увы, не всех родителей хватает; тем более важно восполнять эту нехватку самими вещественными доказательствами существования исторического бытия, предметами, излучающими аромат разных эпох. Два разных типа детства — в доме, где есть Энциклопедический словарь Брокгауза — Ефрона, каждый том которого можно в любой момент взять с полки и полистать, и в доме, где его нет, где все предметы принадлежат одному временнóму срезу. Не менее важно присутствие в доме старых фотографий, писем и прочих бумаг, которые иногда, быть может и всего-то раз в год, можно показать ребенку. Ощущение истории не может явиться вдруг, с первой страницы первого школьного учебника истории, — оно должно присутствовать в доме изначально.

Мы предвидим возражения не только обиходно-утилитарные, но и продиктованные соображениями более общими, едва ли не заботой о судьбах человечества и планеты Земля: «Нельзя без конца преумножать количество бумаг! Нельзя заполнять ими наше жизненное пространство!» Но возразим и мы. Самые разные предметы — от личных наших вещей (которые все более и более становятся вещами временного пользования, все чаще обновляются) до продуктов крупного производства — копятся на Земле все равно, ежедневно, ежечасно и даже ежеминутно. Поток этот неостановим. Почему же в таком случае отходы промышленности должны иметь преимущества перед документами, запечатлевшими духовную жизнь человечества? Не есте-

ственнее ли, чтобы именно документы эти противостояли потоку вещей, заполняя поверхность земного шара, по крайней мере, на равных правах со всеми остальными предметами. Нужно осознавать, что, заботясь о сохранении разнообразных письменных источников, мы идем на временное увеличение их объема на полезной площади человечества. Впоследствии будут найдены способы компактного их хранения. Постоянно строятся галереи картинные, фонотеки и фильмотеки; будут строиться и новые, более вместительные и оснащенные новой техникой архивохранилища. Если мы верим в разум будущих поколений (а именно эта вера заставляет нас искать способы закрепления исторической памяти), то мы должны верить и в то, что поколения эти придумают, как хранить. Наше дело позаботиться о том, чтобы было что хранить.

Да, возможно, и будет образован со временем Государственный семейный архив, о котором писал один из читателей, — архив, куда вольются семейные документы рядовых членов человеческого сообщества. Но пока — пока задача наша не в том, чтобы поскорее снести все решительно бумаги, хранящиеся в частных домах, в одну общую кучу и тем самым возложить службу памяти только и единственно на государство. Да и возможно ли это? Отнести все семейные альбомы, все письма и далее перестать фотографироваться?.. Или носить каждое только что полученное письмо в архив, пополняя свой фонд? Личные архивы не только разнятся между собой — они разносоставны, и разносоставна сама задача «правильного» отношения к своему архиву.

Итак, хранить неизвестно до какого времени, с неопределенной целью?.. Это многих может расхолодить, но мы и не хотели бы приобретать сторонников ценою элементарных и, так сказать, компактных, не соответствующих самой сути предмета рекомендаций.

Замечено, что современный человек склонен безоговорочно одобрять все позволяющее сделать большее при помощи меньшего — маленькие транзисторы, совсем маленькие магнитофоны и т. п. Это в сфере потребления; в сфере, связанной с производством духовных ценностей, с творчеством в широком смысле слова,

этот критерий будет, по-видимому, неприменим еще долгое время.

Не станем скрывать — в том роде деятельности, границы которого мы пытаемся здесь наметить, нет прямой зависимости «действие — результат». Действия, о которых идет речь, — непривычны, рассчитаны на длительные сроки, результаты их отдалены, невычисляемы заранее и могут не соответствовать затраченным усилиям. Но ведь, как и во многих других случаях частной нашей жизни, задача в том, чтобы исполнять свой долг, как сам его понимаешь, не ожидая непременно приличного вознаграждения; мы воистину виновны только тогда, когда не исполняем нами же предначертанное.

Настанет время, когда ...переписка заменится електрическим разговором.

В. Одоевский

— Что писать? — спросил Егор и умокнул перо.

А. Чехов

„ПИШИТЕ ПИСЬМА!"

«Пиши!» — кричат друзья и родные, провожая поезд. Провожающие рисуют в воздухе ломаные линии — строчки будущего вашего письма...

— Вот только будет ли оно написано? Вероятнее всего, заменится двумя-тремя телефонными разговорами и телеграммой о приезде — совсем не так, как у людей предшествующих поколений, полвека и далее назад.

Да, в архивах XVIII—XIX веков переписка занимает огромное место. Супруги, братья, друзья писали друг другу, так сказать, «для себя», а нужны оказались нам. В их письмах непосредственное впечатление от событий, ставших со временем историческими, имена, привлекшие благодарное внимание потомков, факты, даты, острые суждения, подробности хозяйственной жизни, важные для экономиста... Не перечислить всего, что извлекают современные исследователи из частных писем давно умерших корреспондентов.

Архивы наших современников с каждым годом скудеют перепиской. Нередко в государственные архивохранилища поступают в полном объеме бумаги писателя, ученого, издательского работника; среди рукописей, удостоверений, автобиографий и прочего не могло не быть большого количества писем, однако же они отсутствуют: родственники рассказывают, что переписка целиком или в значительной своей части была уничтожена ими или самим владельцем в предвоенные или военные годы. Сегодня это происходит намного реже.

Но, быть может, не менее печальное для архивистов и историков, а в сущности, для общества в целом обстоятельство заключается в том, что люди вообще все меньше и меньше переписываются.

В 1930-е годы они переписывались меньше, чем десятилетием раньше. Одно из писем 1935 года замечательного писателя и ученого Ю. Тынянова ближайшему своему другу начинается иронически-горькими словами: «Ты напомнил мне своим письмом старинный обычай (первая четверть XX века) — переписку». Но в





1940-е и 1950-е годы люди стали писать друг другу еще меньше, чем в 1930-е, и не нужно быть ни историком, ни архивистом, чтобы заметить, с каким ускорением вытесняется переписка из нашей повседневности. Люди, живущие в одном городе, уже не переписываются почти вовсе. Характерный случай: взяв в руки конверт с письмом от знакомого, живущего в одном городе, человек испугался: «Я подумал, — рассказывал он потом, — что-то случилось? Разрыв отношений?» Этот молодой филолог, замечательный знаток архивов XIX и XX ве-

ков, автор интересных публикаций, никогда, оказывается, не писал сам и не получал писем от людей, живущих в одном с ним городе: общение исчерпывалось личными встречами и телефоном.

Но и люди, живущие в разных городах, все охотнее берутся за телефонную трубку прежде, чем вспомнят о пере и бумаге. Попробуем же задуматься над тем, чем грозит нам это обстоятельство — причем не в отдаленном будущем и не потомкам нашим, а именно нам лично и сегодня.

В середине прошлого века Владимир Иванович Даль, работая над своим «Толковым словарем», давал слову «письмо» такое разъяснение: «Письменная речь, беседа, посылаемая от одного лица к другому». Беседа, только воспроизведенная средствами письма! Теперь такое определение многих удивит. Беседы в письмах почти исчезли из обихода Письмо-сообщение (сообщение в узком смысле слова — как уведомление о некоем факте, деле и т. п.) заменило письмо-беседу.

И что же беседовать в письме, если можно в течение полутора часов оказаться в любом конце большого города и даже в пригороде, куда раньше добирались едва ли не целый день. Исчезает сама возможность такой когда-то богатой содержанием эпистолярной формы, как письма с дороги: не успел написать, как уже приехал, да и писать особенно не о чем — много ли увидишь через стекло вагонного окна или тем более из самолета? Ныне в любой почти поездке вычленяются лишь два момента — отъезд и приезд — как отметки об отбытии и прибытии на командировочном удостоверении. И в письмах ограничиваются обычно сообщением о том, как выехал, или о том, как приехал.

Бессмысленно сетовать по поводу исчезновения некоторых эпистолярных жанров или гневаться на телефонный аппарат. Но жаль, что сплошь и рядом он мобилизуется для всех видов общения.

В обиходной фразе: «К вам никогда не дозвонишься — у вас по часу телефон занят!» — за поверхностной раздраженностью скрыто неосознанное, но справедливое неодобрение «неправильному» использованию этого способа связи. Правила подчеркиваются исключениями. В. Шкловский признавался в одной из своих статей: «Лучший год моей жизни — это тот год, когда я изо дня в день говорил по часу, по два по телефону со

Львом Якубинским. У телефонов мы поставили столики». Это был год работы двух филологов над близкими проблемами, безмерно их увлекавшими. Ежедневный обмен идеями был необходим, как воздух, без него они задыхались. Но съезжаться ежедневно было невозможно. Телефон взял на себя функции, необычность которых подчеркнута и самим В. Шкловским.

Но, как правило, повторим, этот канал слишком узок для той нагрузки, которая сейчас все активнее, все с меньшей разборчивостью на него возлагается. Говоря это, мы выступаем не в защиту техники от порчи, оставляя эти заботы специалистам, а прежде всего в защиту многосторонности человеческого общения, неоспоримо сужающегося при столь решительном предпочтении одного его способа всем остальным. Если бы В. Шкловский, заметим в скобках, ограничивался телефонными разговорами со своими коллегами — до наших дней не дошла бы его переписка с Ю. Тыняновым, замечательный литературный документ и вместе с тем незаменимый источник для историков нашей науки и литературы двадцатых-тридцатых годов.

— Но ведь они жили в разных городах. А зачем, например, писать письмо человеку, если живешь с ним в одном городе?

— Действительно, эта мысль начинает уже казаться анахронизмом. Когда несколько лет назад была опубликована переписка М. Булгакова с В. Вересаевым, не все, наверное, обратили внимание на то, что корреспонденты жили в одном городе.

«Телефон, как видите, поставили, но пока прибегаю не к нему, а к почте, так как разговор длиннее телефонного», — писал М. Булгаков 26 апреля 1934 года. Не возникни эта переписка, мы бы никогда не узнали перипетий их совместной работы над пьесой о Пушкине, не стали б свидетелями столкновения их художественно-исторических концепций. «От души желаю, чтоб эти письма канули в Лету, а осталась бы пьеса, которую мы с Вами создавали с такой страстностью», — писал М. Булгаков. Осталась пьеса (увидеть которую на сцене самому Булгакову было не суждено), но не потонули в Лете и письма, полные споров, страстных взаимных упреков — при неизменной нелицемерной, неэтикетной только взаимопочтительности: «Дорогой Михаил Афанасьевич...», «Преданный Вам М. Булгаков...»

...Но более всего любят архивисты, когда разъезжаются на время люди близкие — особенно в ответственные моменты жизни! — и вынуждены преодолевать расстояния письменно. Сколько фактов, которым суждено было бы уплыть в небытие, оказываются зафиксированными! Таким счастливым случаем для историков литературы, да и не только для них, оказался отъезд Е. Булгаковой в Лебедянь на лето 1938 года. С первого дня ее отъезда, 26 мая, Булгаков начал готовить к перепечатке рукопись романа «Мастер и Маргарита» (на-





чатого еще в 1928 году) и писать ежедневные письма жене, по которым сегодня восстанавливается весь ход работы над седьмой (предпоследней) редакцией романа 30 мая он сообщает, что «роман уже переписывается», 31 мая — «пишу шестую главу», 1 июня — «не хочется бросать ни на день роман. Сегодня начинаю 8-ю главу», в ночь на 2 июня — «мы пишем (он диктовал роман на машинку. — *М. Ч.*) по многу часов подряд, и в голове тихий стон утомления, но это утомление правильное, не мучительное...», «Роман нужно окончить! Теперь! Теперь!», в ночь с 8-го на 9-е «было переписано

15 глав, а сейчас уже 16», 10 июня — «диктую 18-ю главу», 13 июня — «диктуется 21-я глава. Я погребен под этим романом. Все уже передумал, все мне ясно». 15 июня 1938 года Булгаков писал жене: «Передо мною 327 машинных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро переписка закончится... «Что будет?» — ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат<...> мои пьесы и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего.

Свой суд над этой вещью я уже совершил, и, если мне удастся еще немного приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной в тьму ящика.

Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому неизвестно». В этот же день в открытке (вверху помечено — «На рассвете»): «Завтра, то есть, тьфу, сегодня, возобновляю работу. Буду кончать главу «При свечах» и перейду к балу. Да, я очень устал и чувствую себя, правду сказать, неважно». 24 июня 1938 года перепечатка романа была завершена и в последующие полтора года, до последних дней жизни, автор правил именно этот машинописный текст.

...Телефон не только оставляет незакрепленными сообщаемые факты, но нередко диктует облегченные формы общения.

Многие помнят давнюю миниатюру Аркадия Райкина — разговор в телефонной будке. Расплывающееся от удовольствия лицо и только две реплики, все время чередующиеся: «Ну да?», «Иди ты!» В письме, даже самом непритязательном, такая лапидарная форма общения, пожалуй, не пройдет — придется поломать голову, чтобы как-то распространить свою мысль, расширить словарь, прибегнуть таким образом к более сложному для «выполнения», но, несомненно, более содержательному способу общения.

Но, быть может, именно в этой облегченности и есть простая правда века? Может быть, совершенно утопическая и потому бессмысленная затея — пытаться противостоять этому все более широкому проникновению современной техники во все сферы нашей жизни, и в том числе экспансии телефона? С такой фетишизацией сложного устройства, самим человеком же и придуманного, невозможно, однако же, согласиться. Человеческое

пользование современными техническими средствами должно быть осмысленным; такого уговора не было, чтобы непременно пользоваться ими бессознательно, оставаясь в неведении относительно возможностей и назначения каждого из них.

Многие с обидой, а некоторые даже с негодованием возразят, что по телефону, как и не по телефону, они говорят нормальным литературным языком и не чувствуют, чтобы та замена эпистолярных форм общения телефоном, по поводу которой сетует автор, в чем-то бы их окорачивала, сужала бы их обмен духовными ценностями со своими современниками.

Тем не менее, увы, окорачивает. Заметно или незаметно для них самих, но от этого не менее неумолимо.

Дело в том, что устная наша речь не взаимозаменяема с письменной. Две эти формы языка существуют лишь параллельно и равноправно, и каждая несет свои собственные функции, каждая особым, только ей присущим способом участвует в формировании и явлении нашей духовной жизни. Устная речь при всей ее гибкости, свободе и непосредственности, при том, что на помощь ей приходят мимика, жест, тембр голоса, разнообразнейшие его модуляции, смех (или слезы) говорящего, тем не менее ограничена в своих возможностях. Если мы только говорим и ничего не пишем, кроме деловых бумаг, мы не реализуем достаточно полно возможностей своей личности и своего общения с людьми. Во-первых, потому, что, пользуясь исключительно устною формой речи, мы не востребуем значительной доли богатств, заложенных в нашем языке. «Только на письме, только в письменном слове вполне является синтаксис, — писал К. Аксаков, — только там развивает он все свои стороны, все богатства и разнообразие оборотов, чего не может допустить разговор». Мы не прибегаем в разговоре к столь характерному для книжной речи сложному, разветвленному периоду с причастными и деепричастными оборотами, способному вобрать множество обособлений и уточнений, в малой степени используем богатую систему русского синтаксиса, способную передать разнообразнейшие оттенки причинно-следственных и пространственно-временных связей, редко строим фразы с несколькими придаточными. А ведь это все не параграфы из школьного учебника грамматики, а формы языка, приспособленные для выражения оттенков

мысли, не выражаемых другим способом — вне сложного строя письменной речи. Это значит, что у тех, кто пользуется устной только речью, все эти наиболее тонкие оттенки мысли оказываются не выраженными — не переданными собеседнику и более того — не уясненными и себе самому.

Да, вторым следствием пренебрежения к письменной форме речи является пренебрежение к каким-то сторонам собственной духовной жизни. Обращаясь к письменной форме, мы не только овладеваем богатствами родного языка, но и учимся размышлять. При этом для людей, не связанных с гуманитарными занятиями и профессионально имеющими дело лишь с сугубо специальными жанрами письменной речи — деловыми и научными, наиболее естественной формой письменного самовыявления, ближе всего связанной с их жизнью, остается переписка.

Для гуманитария же переписка важна не менее, кроме прочего, еще и как один из путей незаметного, ежедневного совершенствования профессионального своего языка. В письме, обращенном к коллеге, мысль может найти неожиданно свободное и точное выражение, ускользающее в те часы, когда автор твердо знает, что он пишет статью, и внутренне скован привычным своим (и иногда много лет не пересматривавшимся) представлением о канонах жанра. Человек, занимающийся проблемами современного искусства, часами говорит по телефону с авторами прочитанных им книг, статей, высказывая интересные соображения по поводу прочитанного. Писем он не пишет, потому что есть телефон, — это объяснение он всегда подчеркивает и уверен в его основательности. Пишет он только статьи и книги, иногда официальные отзывы. Может быть, отчасти поэтому язык его статей — заметно скованный, нивелированный — почти не изменился за последние 15—20 лет, когда язык всей гуманитарной науки претерпел такие существенные перемены. Интеллект человека развивался, изощрялся, а формы письменного выражения законсервировались. В разговорах и выступлениях человек этот неизменно обнаруживает более острое, менее стандартизованное мышление, чем в своих работах.

Можно попытаться понять это предпочтение телефонного и устного разговора письму там, где речь идет о

вещах серьезных, об оценках чужой работы и развитии собственной мысли. Разговор «легче»; он требует от говорящего много меньше, чем письмо; все эти «Видишь ли, вот что я тебе должен сказать... Понимаешь, где-то это у тебя чуть-чуть перетянуто...» в письме бы «не прошли», потребовали бы замены словом более точным. Сверх того, в диалоге человек, нередко незаметно для себя, получает удовольствие от тех сугубо престижных оттенков, которые в какой-то степени исчезают в письме: он говорит, его слушают...

Не только качества мысли, но качества воли, характера формируются в нас писанием писем. В письме человек остается перед листом бумаги один на один — без тех подпор, которые всегда к его услугам в устной речи, где все, что не выговорится словом, дополнится выражением лица, где междометия нередко вполне удовлетворительно заменяют собою целые фразы. В письме человек принужден найти для всего, что он хочет сказать, более или менее полное словесное выражение, и это заставляет его с пристрастием допросить себя о том, что же именно он хочет сказать. В устном разговоре нередко вполне удается вовсе не иметь своего определенного мнения по обсуждаемому вопросу. Пылкий тон беседы, активная реакция на отдельные какие-то реплики спора могут существенным образом затемнить факт отсутствия у одного из собеседников своего отношения к предмету. В письме это труднее...

И еще одно следствие пренебрежения к переписке— резкое сужение имеющихся в распоряжении человека форм общения с другими людьми. Действительно, телефонный разговор, встреча, письмо — все это совсем не взаимозаменяемые способы общения. Каждый многократно имел случай почувствовать разницу между телефонным разговором и беседою лицом к лицу. Иные слова легче сказать по телефону, когда лицо собеседника нам не видно, да и он не видит нашего. А начиная письмо, пишущий вступает в совсем особую сферу, в иную, собственно говоря, действительность. Он уже не с одним только адресатом своим входит в соприкосновение, а со всею огромною письменной традицией, со всеми, писавшими до него на родном языке... Неосознанно, но неизбежно он выбирает, к какой традиции ему примкнуть, какой выбрать тон, стиль, какую меру откровенности. Но прежде осуществляется сам выбор

эпистолярной формы, предпочтение ее телефону. На каких же основаниях производится этот выбор?

Пытаясь понять эти основания, мы опрашивали разных людей и слышали разные ответы.

Молодой одаренный режиссер решительно предпочитал разговор письму: «В письме, знаете, одну и ту же фразу сегодня прочитаешь так, завтра совсем иначе... А телефонную трубку я слышу всем ухом, я почувствую фальшь интонации и искренность почувствую...»

А математик столь же определенно предпочитал письмо телефону: «Телефонный звонок ни к чему не обязывает. Это дело легкое — покричишь, пошумишь, что угодно скажешь... А письмо — дело другое: к кому ты равнодушен, письма не напишешь. Для этого надо человека любить. В письме труднее притворяться...»

В ответах видна была и некая общая для многих современников шкала ценностей в отношении некоторых специальных разновидностей общения. Сохраняется, например, привычка поздравлять человека письменно — телеграммой, открыткой, письмом. Поздравление устное хоть, может быть, радует не меньше, но, так сказать, быстро истаивает в воздухе. Его нельзя перечитать — ни на другой день, ни через несколько лет. Неудобным считается и по сей день обращаться по телефону с серьезной просьбой, требующей от того, к кому мы обращаемся, каких-то усилий. Неосознанным образом мы стремимся как-то уравновесить эти усилия своими и отказываемся от телефона как наиболее «легкого», необременительного для просящего способа связи. Письмо, «обременяя» пишущего, как бы исключает тем самым мысль о небрежности, бесцеремонной легкости его обращения к адресату.

И очень часто слышали мы недоуменное восклицание: «Да о чем писать-то?» или сокрушенное признание: «Не умею я письма писать!»

— А разве можно научиться писать? Возможны ли какие-нибудь советчики в одной из самых личных, не терпящих никакого постороннего вмешательства областей нашей частной жизни?

— Не всегда на это смотрели таким образом. Что, как не желание людей «правильно» писать письма, вызывало к жизни разнообразные «Письмовники»? Существование их показывает, по крайней мере, что писание писем почиталось важным делом.

Бесспорной была помощь письмовников в официальной переписке — они предлагали в готовом виде образцы разнообразных прошений, писем к высокопоставленным лицам и прочих бумаг, где несоблюдение строго установленной формы могло прямо повлиять на исход дела. Письмовники старались руководить своим потребителем и в переписке личной — интимной, родственной, дружеской (которая обычно тем ценней для историков, чем свободней ее содержание). Они искали для нее образцы в преобладающей литературной тради-





ции времени, предлагая, таким образом, каждому пишущему место на самой низкой ступени эпигонской беллетристики.

Свобода письменного выражения своих мыслей — одно из самых трудных умений. Писать несвободно — легче, поскольку это работа по готовым образцам. Одно из самых наглядных описаний «проблемы эпистолярии» дано в рассказе А. Чехова «На святках». «Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки не-

рушимо...» — выводит писарь под диктовку деревенской старухи. Но вот известные старухе начальные эпистолярные обороты речи иссякают, и она отчаивается. «Чего и вам желаем от господа... царя небесного...» — повторила она и заплакала.

Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в десяти письмах. С того времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды, старики жили, как сироты, и тяжко вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей. Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!» Пока старуха думает о том, как бы «перевести» все это на неведомый ей язык письма, писарь, узнав, что зять старухи из солдат, и уже не слыша, что теперь он «у доктора в швейцарах», стал быстро писать.

«В настоящее время, — писал он, — как судьба ваша через себе определила на Военное Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисцыплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военного Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цывилизацию Чинов Военого Ведомства...»

И чем дальше пишет писарь, тем больше расширяется пропасть между совершенно условным текстом письма и тою «жизнью», которую хотела бы вместить в строки письма старуха. «Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до святок, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст богу душу... Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после?»

Вот они, эти сакраментальные вопросы, которые и есть основа эпистолярии, которые и отделяют «умеющих» писать письма от «неумеющих». Старуха неграмотна, и сфера письменной речи для нее — чужая, неведомая земля, стеной отгороженная от того языка, на котором она говорит и думает, который слышит вокруг, и ей никаким образом нельзя преодолеть эту стену и как-то приткнуться к этой земле. Писарь, напротив, грамотный, но он не только не хочет, но, надо думать, и не может разрушить эту стену, и именно по-

этому из-под пера его катятся слова, не имеющие отношения ни к корове, ни к хвори старика, а сам старик, слушая письмо, «не понял, но доверчиво закивал головой.

— Ничего, гладко... — сказал он, — дай бог здоровья. Ничего...»

Но значит ли это, что вся переписка такого рода как бы «недействительна», что она не выполняла своего прямого назначения — общения людей на расстоянии? Нет, выполняла, действовала, достигала цели. Есть некая магия эпистолярного жанра, заключающаяся в том, что письмо, написанное родным, любящим и любимым человеком, воспринимается обычно как бы «поверх» и формы его и содержания, шаблонный оборот речи наполняется живым смыслом, живой интонацией, казалось бы, никаким образом в нем не обозначенной...

И старухино письмо дошло по адресу и безошибочно достигло цели. «...Ефимья дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла; для нее было довольно и этих строк, она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеется. — Это от бабушки, от дедушки... — говорила она. — Из деревни... Царица небесная, святители угодники. Там теперь снегу навалило под крыши... деревья белые-белые. Ребятки на махоньких саночках... И дедушка лысенький на печке... и собачка желтенькая... Голубчики мои родные!» Все уместилось, оказывается, в шаблонную, старинными письмовниками продиктованную и через несколько поколений прошедшую фразу письма — и белые деревья, и лысенький дедушка, и желтенькая собачка...

Вот пример другого рода — фрагменты подлинных неопубликованных писем.

«Учителя тебе, мой друг, я нашел — Швейцара, который по-французски и по-немецки говорит очень хорошо и прочие науки знает, и мне полюбился. Если Бог велит, я с собою привезу его. Я хотел бы и сам здесь ходить слушать курс физики у славного Профессора, у которого многие знатные люди слушают ныне по часам, и между прочими вице-канцлер Граф Панин с семейством своим ездит слушать уроки, но свободных часов для меня еще не открылось, и конечно намерен воспользоваться знаниями сего ученого».

Это пишет своему сыну из Петербурга в Рязань

27 октября 1800 года Михаил Иванович Коваленский, куратор Московского университета, ученик и биограф замечательного философа Григория Саввича Сковороды. Он пишет ему каждые два-три дня о пустяках и о важном, но, о чем бы ни писал он, слог его всегда остается ровен, прост, традиционен и вместе с тем неуловимо индивидуален.

«Здесь настали морозцы, и я опять начал много ходить пешком, это для меня здорово...»; «Приказывай открывать чаще хворточки в покоях, раз три и четыре в день, для очищения воздуха, как я делывал всегда. Пиши ко мне сам, ни у кого не спрашивая сочинять письма, что на ум тебе прийдет, то и пиши...»

М. Коваленский описывает сыну Михайловский замок: «Дворец сей прекрасно отделан и перед домом поставлена статуя Петра I, на пьедестале которой написано золотыми словами тако:

Прадеду
Правнук
1800 года.

Государь Петр I был прадед нынешнему императору, потому и подпись прилично сделана»; «Замок сей построен на острову нарочно зделанном; кругом канавы из Невы проведены, и многие мосты». 6—8 ноября он сообщает ему о своих занятиях: «Я препровождаю время здесь то со старыми приятелями моими, к ним ездя, то они ко мне ездят, то чтением занимаюсь, то с новыми знакомыми обращаюсь, изредка к большим вельможам являюсь, много хожу пешком, и о многом занимаюсь размышлениями для меня поучительными, гляжу на настоящее, вспоминаю прошедшее, воображаю будущее...»

И даже для щекотливого предмета — известия о насильственной смерти Павла I — находятся приличествующие случаю слова: «Третьего дня числа под 12 угодно было Промыслу вышнего прекратить жизнь Императора Павла I нечаянною болезнью, которая причинила ему смерть и в то же время возвести на Престол императорский Александра I, преисполненного драгоценнейшими для человечества дарованиями...»

Медленный, размеренный ритм жизни; ставший привычным распорядок дня, где занятия чередуются с прогулками, во время которых можно предаваться размышлениям, — распорядок, будто сам собою располагаю-

щий к тем «беседам в письмах», о которых писал Даль. Мирно течет частная жизнь куратора Московского университета, идут из Петербурга и Москвы в Рязань его письма, диктуемые сугубо личной заботой о сыне, любовью к нему, и этот тонкий ручей впадает в воды истории, донося до нас и духовный облик писавшего, и некий тип семейственных отношений, и разнообразные оттенки отношения людей 1800-х годов к событиям своего времени.

Это уменье писать письма прививалось когда-то с детства — прививалось самой уже строгой обязательностью писания писем родителям с раз установленной, неменяемой периодичностью. Сын петрашевца Н. Кашкина пишет отцу из лицея ежедневно, давая подробный отчет о своих занятиях, отметках, денежных делах, отношениях с товарищами и состоянии своего духа. И через десять лет, живя в деревне, он пишет отцу так же регулярно, все теми же словами начиная свои письма («Дорогой друг папочка...») и так же их заканчивая («Всем сердцем твой...»), но сообщая не о лицейских уже отметках, а о хозяйственных делах. Само намерение написать письмо не отделено, по-видимому, значительным отрезком времени от того момента, когда перо берется в руки: давно заданный ритм облегчает сам приступ к письму. Процесс писания тоже, как видно, не вызывает напряжения, так как вошел в привычку. Напротив — затрудняют дело незначительные (с нашей сегодняшней точки зрения) перерывы в переписке: «Сажусь отвечать тебе, предвижу, что испишу в ответ на твои десять — страниц 12, и даже не знаю, с чего толково начать, так много набралось тем за 5 дней моего молчания». Привычка к писанию писем выработала и определенный порядок расположения их содержания, как бы готовую сюжетную схему, даже готовую интонацию, которая начинает звучать с первых же строк письма; и видно, как, начиная письмо, человек будто продолжает хорошо знакомое, ненадолго прерванное занятие...

В наше время инерция эта во многом утрачена. Каждое письмо превращается в некий поступок, к которому готовятся всякий раз заново. И если для некоторых видов переписки это вполне естественно, то в большинстве случаев происходит напрасная растрата нервной энергии, когда человек три недели ходит с обреме-

ненной душой, съедаемый сознанием невыполненного долга; и все это для того, чтобы в конце концов сесть и за пятнадцать минут написать письмо-отписку, не стоящее этих треволнений.

— Несомненно, что к писанию писем необходимо приучать с детства, вырабатывая и эту привычку среди прочих других, снимая заранее ненужную мучительность и затрудненность в основе своей естественного и не слишком сложного процесса. Но как учить? Теперь ведь не издают письмовников...

— Да, в наше время, когда письменная речь, главным образом усилиями литературы последних полутора столетий, так сильно сблизилась с устной, исчезли трафаретные, «обязательные» элементы письма — начало, концовка, специальный приступ к каждой новой части.

Напротив — освобождение от всякого трафарета, приближение к собственным своим мыслям, естественное, непринужденное, как можно более адекватное их изложение; расширение внутренних границ письма. Письмо может выразить не только более того, чем привыкли наполнять его в большинстве случаев, но главное — всякий раз иное. Это чувствуют дети, прибегая к эпистолярному жанру, — если только предварительно им не внушат опасливого к нему отношения, связанного с представлением о неких правилах.

Чем меньше ребенок, тем ближе он к самому расширительному пониманию письма. Письма его коротки, но свободны. В шесть лет, напряженно обдумывая, как обратиться к любимому писателю, чтобы передать всю полноту любви, начинают письмо так: «Драгоценный Корней Чуковский!»

Восьмилетняя девочка шлет родителям из пионерского лагеря открытки (где адрес надписан еще — для верности — их собственной рукой), содержание которых в течение трех недель колеблется от канонического: «Здравствуйте, дорогие мама и папа! Я живу хорошо, мы ходим в лес. Такой у нас дом (рисунок). Приезжайте ко мне на родительский день 21 июня. Целую» до более свободного, прямым образом отражая меняющееся настроение автора: «Дорогой папочка! У нас есть библиотека, где мы берем книги, а потом читаем. Мне скучно без тебя. Приезжай ко мне. Целую тебя, мой любимый»; «Дорогим папе и маме песня: Железный шлем, деревянный костыль, король

с войны возвращался домой, солдаты пели, глотая пыль, и пел с ними вместе король хромой! Ту-ру-ту-ру-тырьям-тырьям. Помнишь, пап? целую».

Через полгода письма становятся размеренней, описательнее: «Дорогие баба и дед! Я сейчас болею, сижу в постели и пишу письмо. Я все дни играю в куклы и очень люблю читать. Я позавчера нарисовал свою кошку Феню. Папа приучил Феню после еды уходить на место. На этом писать кончаю. Жду ответа. Ваша внучка». Болезнь оказывается поводом выполнить давние





эпистолярные обязательства. «Дорогая Галя! Я сейчас сижу и болею, но чувствую себя хорошо. У кошки Фени было три котенка, их, кроме 1-го, раздали, но скоро отдадим и этого. У нас в комнате такая обстановка (дальше следует рисунок с подписями «Мой угол», «Мамин угол»). В углу — моя кровать, шкаф и еще мой бывший шкафчик для Фени. Другой угол — мамин. Один шкаф боком — другой прямо. В этой клетке сидит мама за столом».

Еще через год письма становятся фактичнее, но не теряют свободы выражения чувств; появляется уже не-

которая претензия на юмор, пока еще почти неосознанная, скорее идущая от хорошего отношения к адресату: «Дорогая М. З.! Я была на выставке в животноводстве. Откуда ты это узнала, М. З.? В животноводстве мы сначала пошли в отдел корововодства, быководства и телководства. У всех коров толстые-претолстые вымечки. Наверное, у них ужасно много молока. Среди коров была корова Хроника. У быков кудрявые гривы. Они (быки) огромные, как слоники. Был бык Очерк. Потом мы пошли в овцеводство. Кличек у баранов нет. Баранов мы гладили по доброму носу. Они одобрительно фыркали, моргали и подмигивали нам. Овечек было жалко: их подстригли, и на спине у них были раны.

Еще мы с Ольгой Александровной были в коневодстве. Красивые лошадки! Там была одна лошадь — диво! Хвост, наверное, по десять раз в день причесывают, он такой длинный — до земли. Тяжеловоз так вовсе не такой, как рисуют в энциклопедии (толстый и неуклюжий), а довольно красивый. Там есть жеребцы от кобылицы и знаменитого Квадрата (не знаю, чем он знаменит).

Как только я прочитаю 100 книг — а произойдет это дня через три, папа подарит мне приз — книгу Брагина «В грозную пору» (про Отечественную войну 1812 года!). Прощевай!!!» Далее беглый автопортрет и подпись.

Заводятся новые адресаты — друзья родителей, с которыми завязывается отдельная переписка, — из-за явной потребности в расширении общения с людьми вообще, а также и в эпистолярном самовыражении, в фиксации бурно идущей жизни. Самостоятельно находится форма обращения к взрослому, но, однако же, еще явно молодому адресату — по имени и фамилии. «Здравствуйте, уважаемый Ж. Т.! Все эти дни я никак не находила времени Вам писать... У нас недавно было +3°! А по радио недавно говорили: «И пусть за окном свирепствуют февральские бури...»

Хороши бури при t° = +3°!

Вчера, в понедельник (14/II), к нам во второй раз за 4 года приехали французы из лицея: все без исключения в клешах и со всякими сумочками Все болтают по-французски, все с распущенными волосами по пояс....

Ну и накрыли им в нашей столовой! Курочка, вйны (а может, и не вина, а сок, не знаю...)

(Заметочка: 12 июля мне (ура-ура!) исполнится 11 лет (ура-ура!), ни меньше, ни больше.)

У нас месяца три назад появился грипп со всякими осложнениями: на глаза, на уши, на легкие... Недавно он начал вроде утихать, но по радио вдруг объявили, что новая вспышка (неизвестно от кого и неизвестно отчего). Поэтому я не ем два месяца мороженое, дабы не заболеть.

Кошка наша по имени Феня передает Вам кошачий привет, а мне напоминает о том, что я забыла поблагодарить Вас за письмо. Спасибо большое, оно мне очень понравилось.

До свидания.

P. S. Передайте, пожалуйства, привет Л. Ф., Е. Р. и мною уважаемой О. по фамилии Р.».

В письме видна забота об адресате, вызвавшая некоторую обдуманность композиции и звездочки, разделившие письмо на главки...

Это входит, видимо, в сегодняшние родительские обязанности — развязать у ребенка свободу письменной речи, воспитать в нем охотное обращение к эпистолярному жанру и то умение думать только об адресате, нимало не принуждаясь, не разъедаясь рефлексией, которое так трудно развить в себе потом. «До чего же я письма не люблю писать!» Это значит — мне непривычно, докучно, не знаю, как подступиться. За этим — далекая, далекая картина детства, когда мальчик или девочка с унылым, донельзя томящимся видом сидит за столом и тянет: «Ма-ам! Что мне бабушке писать?!!» — «Ну пиши: Здравствуй, дорогая бабушка!» Минута молчаливой работы. «А дальше что писать?..» Всего нужнее только постоянное побуждение к писанию писем — лишь в первые год-два после овладения грамотностью, но не диктовка, не редактирование.

— Но какие-то эпистолярные правила объяснить, наверное, нужно?

— Пожалуй, что никакие — кроме чисто внешних: сказать, например, что неаккуратный листок может обидеть адресата. И уж во всяком случае невозможными кажутся безапелляционные слова: «Так не пишут». Под ними-то и подминаются слабые побеги внутренней свободы личности, глохнет потребность адекватного самовыражения в слове, с годами у стольких людей, увы, отмирающая начисто.

Письмо, дневник, мемуарная запись... Здесь нерасчлененный ход нашей текущей жизни расчленен собственной нашей же мыслью, словом, волей. Побуждение написать письмо для нашего современника — это остановка инерции, осознанное волевое движение, когда не тебя несет, а ты выбираешь, ты предпочитаешь поступок — бездействию или привычной заученной ежедневной системе бытовых действий. Это значит, что и на жизнь своего адресата человек взглянул вдруг иными глазами, сумел вычленить в ней отдельное звено,





требующее реакции, оценки, жеста солидарности. Писание любого, пусть и сугубо частного письма, есть независимо от намерений пишущего миг исторического сознания, акт исторического поведения. Сам того не ведая, пишущий приобщается к исторической традиции, начало которой теряется в глубине веков, а конец уходит в неизвестное нам будущее. И, сам того не ведая, не предполагая, нимало о том не заботясь, он послужит в конце концов отдаленным от него нуждам человечества.

Человек, пишущий письмо, запечатлевает некий не-

повторимый момент бытия — своего личного бытия, своего бытия как части исторической жизни страны и человечества и, наконец, миг истории как таковой, даже вне связи с частной жизнью отдельного человека. Так, письма, в которых отразились события войны 1812 года, сегодня могут быть интересны историку (в отличие от исторического писателя!) уже помимо личности и судьбы писавшего их человека. И таким же вполне объективным историческим источником послужат в недалеком будущем письма о Великой Отечественной войне.

Эта необходимость запечатления быстротекущего момента истории плохо осознана в повседневной практике нашего современника. С развитием технических средств коммуникаций получился странный разрыв между глубоким пониманием ценности сиюминутного, колеблющегося облика мира в искусстве двадцатого века (живопись, кинематография, художественная фотография) и практикой современного быта, которая запечатлевает быстро меняющуюся действительность гораздо хуже, чем практика прошлого века (при этом искусство того времени как раз дало образцы запечатления устойчивого в мире — того, что как бы претендует на вечность). Казалось бы, современники как раз только и делают, что при первой возможности стремятся запечатлеть текущий момент действительности — для этого служат им магнитофоны, фотоаппараты, киноаппараты, посредством которых по стране снимаются десятки тысяч любительских фильмов. Но всеми этими средствами удается запечатлеть только внешний облик меняющейся действительности — то есть выполнить важную, но далеко не единственную обязанность современника перед историей. Всеми этими средствами люди не запечатлевают (или запечатлевают лишь в очень слабой степени) духовного своего состояния, которое возможно запечатлеть только в слове. Только слово не требует от пишущего на родном языке того дополнительного уменья, без которого технические средства, какими он владеет, не дадут нужного эффекта. Язык наш и сегодня подвластен нам для выражения внутреннего мира более, чем любые достижения техники, потому что он дан нам с детства — и помимо воли и специального умения автора выражает его душу, регистрирует его внутреннюю жизнь, дает картину его личности — части духовной жизни народа.

В двадцатые годы нашего века писателем А. Ремизовым, чьи художественные интересы во многом обращены были к русской старине, осуществлялся необычный замысел показать «Россию в письмах» (под таким названием публиковались в журналах фрагменты из предполагавшегося второго тома его известной книги «Россия в письменах»). А. Ремизов печатал письма разных поколений одного семейного гнезда — людей заурядных. Письма их были заурядны и по содержанию — это тоже входило в замысел. «Написанные во времена мирные, они обнимают мирный круг жизни, — пояснял публикатор, — тут и поздравительные и пригласительные и советы соседского доктора и всякие дела семейные... И пустые и не пустые, возмутительные и приятные, французские и по-русски писанные — по выговору, надо хранить до последнего обрывышка. Каждый записанный обрывышек от того прошлого нашего и особенно того круга, к которому принадлежали Калечицкие, помещики средней руки, представляет большую ценность, ведь эта середина — серое поле русской жизни, на которой разыгрывалась история, происходили великие отечественные события и проходили люди, память о которых сохранится в век беззабвенно».

«Государь мой Исай Ивановичъ, здравствуй на множество лет!

Благодарствую теби, друг мой, что писав ко мне о своем здоровю, чего и вѣпрет о том же прошу... При сем писанию жичливая жена Маря Бровцина... Из Каменца июля 27 1783». Жичливые — усердные — жены писали часто, но писем от того времени — конца XVIII века — уцелело мало, и каждое письмо драгоценно.

А вот и еще одно издание такого же рода и в те же годы вышедшее в издательстве Сабашниковых — «Грибоедовская Москва» М. Гершензона. Составленная на материале семейных писем Римских-Корсаковых, книга эта задумана была самим автором как «опыт исторической иллюстрации к «Горю от ума»... По письмам воссоздал он жизнь московской семьи — как раз в те годы (1818—1823), когда наезжал в Москву Грибоедов, и в том кругу, который он наблюдал. «Войдем же в дом Марьи Ивановны, — приглашал писатель. — ..Дом большой, просторный, в два этажа и в два десятка комнат, с залой, умещающей в себе маскарады и

балы на сотни персон и благотворительные концерты. Фасад выходит на Страстную площадь: нынешние москвичи знают здание 7-й мужской гимназии...» (оно простояло до 1967 года). Преждевременные смерти, неудачные попытки сватовства, семейные печали, заботы... Оправдывая свой замысел, автор писал: «Мы нескромно читаем письма давно умерших людей, и вот мы вошли в чужую семью, узнали их дела и характеры. Что же? ведь нет дурного в том, чтобы узнать и полюбить... личное участие к ним делает нас как бы современниками исторических событий, потому что их семейные невзгоды, в которых мы их застаем, так непосредственно связаны с историей эпохи...»

В том же издательстве вышла в 1916 году другая книга М. Гершензона, написанная на основе семейной переписки, — «Декабрист Кривцов и его братья». Последнее время такого рода книги издаются редко, и это жаль — откуда еще можно так почувствовать исторический быт, особый его цвет? Без чувства эпохи знание о ней может остаться голым, схематичным.

Добавим, что совсем недавно наконец поступил в отдел рукописей ГБЛ архив самого М. Гершензона — с прекрасно сохранившейся перепиской, которая поможет исследователям, а через их посредство — и более широкому кругу читателей стать «современниками исторических событий» конца минувшего века и первой четверти нашего столетия.

— Но есть все же некая щекотливость в рассуждениях об историческом смысле и значении частной переписки. Неужели, садясь за письмо к матери или к другу, человек должен чувствовать, что он работает для вечности?..

— Меньше всего мы хотели бы внушить своему читателю суетное стремление к увековечению своей личности в письмах к знаменитым людям или некую напряженность в переписке дружеской. Взаимоотношения частного человека с исторической памятью являют собою глубокую проблему.

Когда Л. Толстому прислали корректуру «Анны Карениной», к нему попали и несколько страниц печатавшейся в той же книжке «Русского вестника» драмы Д. Аверкиева «Княжна Ульяна Вяземская». Толстой прочитал эти страницы и с отвращением пересказывал в письме Н. Страхову: «Там какой-то русский князь

убил любовницу и в ужасе от своего поступка в первую минуту восклицает: «О, я несчастный! В летописях будет написано, что я убийца!»

Л. Толстой пишет — «Ведь это ужасно!» и называет это «мерзостью». «Мерзость» заключена, по-видимому, не только в ненатуральности и безвкусице, но в этической позиции, — и мы менее всего хотели бы быть понятыми в подобном плоском роде. Нет, мы не побуждаем читателя принять напряженную позу человека, охорашивающегося перед зеркалом истории, не в меру оза-





боченного судом потомства. Мы призываем к иному — к повседневному ощущению себя в некоем историческом потоке, проносящемся сквозь наш сегодняшний день, но в нем не пересыхающем. Человек, воспитавший в себе историческое сознание, неминуемо обратится и к переписке, и к другим выражениям этого сознания. Оно будет влиять на его жизнь опосредствованно — не в тот самый момент, как садится он за письмо, — точно так же, как, совершая добрый поступок, человек чаще всего не примеряет в этот момент к своему поведению правила морали.

Не забудем и то, что вместе с «пользой» для истории (которая, как мы трезво сознаем, далеко не всякого и не сразу может увлечь...) есть и сугубо личный «расчет» в писании писем, где мыслям своим и чувствам мы можем подыскать наиболее законченную форму, не смущаемую множеством тех случайных обстоятельств, которые неизбежно сопутствуют едва ли не всякому разговору. Если не каждый разделит с нами это мнение, то согласимся, во всяком случае, на том, что в письме мы открываем себя иначе, с иных сторон, чем при личном общении. Чем ближе отношения, чем интенсивнее духовный обмен, осуществляемый между людьми, тем больше потребности испытывают они — сознательно ли или неосознанно — дополнить его перепиской, и те, кому этот случай не представлялся, по нашему глубокому убеждению, не испытывали в полной мере наслаждения человеческого взаимопонимания. Поэтому под конец, когда исчерпаны уже аргументы отвлеченного характера, мы призываем читателя писать письма — вне далеко идущих целей, а просто для того, чтобы (воспользуемся определением поэта) наслаждаться «психологической свежестью и новизной, свойственной этому занятию».

Но не только письма — не менее, а может, и более интересны для историков дневники. В сегодняшнем обыденном сознании слово «дневник» связывается не столько с подневной записью разнообразных событий, сколько со школьным дневником сына или дочери.

Но даже и отрешившись от этого значения слова, человек не выходит из круга понятий, связанных с чем-то школьным, детским... Девочка вела дневник, а подружки нашли и прочитали... Или — в «школьных» повестях недавних лет — обнаружили в дневнике у мальчика неодобрительные слова об учителях и товарищах и коллективно это обсуждали. Иногда записи из дневника появляются в молодежной газете — по следам исключительного какого-либо события, когда дневник фигурировал, например, в качестве вещественного доказательства при выяснении мотивов и виновников самоубийства. Словом, что-то либо детское, необдуманное, либо что-то выходящее за пределы «нормальной» жизни.

Отчасти это отражает реальное положение вещей. Культурная традиция ведения дневников заметно пресеклась. Современному человеку трудно задуматься над идеей вести дневник, трудно решиться на это, трудно

выдерживать регулярность, необходимую для этого занятия. Ему трудно понять цель этого занятия, которая так или иначе восходит к стремлению — неважно, сознательному ли, бессознательному — закрепить уходящий день, включить его в бытие историческое. Стремление это естественно для человека, нечуждого культуре, и нужны долгие десятилетия, чтобы оно ослабело и в людях, теснейшим образом с ней связанных. Когда-то к этому приучали с детства. В архивах лежат сотни дневников самых разных людей прошлого века, позапрошлого, начала нынешнего. Их авторы люди разного возраста, разного круга наблюдений, разного образа мыслей, сближенные лишь одним — потребностью вести записи о своей жизни. Дневник ведет еще мать за шестилетнего своего сына, добросовестно записывая его впечатления от поездки на дачу, от толково прожитого летнего дня. Гимназист 3-го класса начинает в 1905 году свой дневник, предпосылая ему весьма витиеватое, на литературных образцах построенное вступление: «Когда-то давно (!) я основал дневник, в котором описывал все горести и радости домашней жизни. Теперь же, когда круг моих наблюдений и мыслей значительно расширился, я задался целью описывать все горести и радости гимназической жизни...»

На исходе восемнадцатого века отец осторожно и настойчиво пытается приохотить сына к этому занятию, польза которого для него не подлежит сомнению. «Пиши мне, мой друг, как ты проводишь время твое и начиная от утра до сна ночного как расположены и чем заняты силы твои? Я желаю знать о всем подробно, и ты заведи журнал каждого дня, в котором пиши все твое ежедневное занятие, даже кто у тебя будет, чем с ним занимался, о чем беседовали, и присылай ко мне, пока я здесь пробуду. Сим ты утешишь меня, а себя приучишь смотреть на все твои поступки, что есть первый шаг к мудрости» (неопубликованное письмо Максима Коваленского — ученика Григория Сковороды).

Вести путевой дневник во время путешествия было когда-то делом обыкновенным. До сих пор еще поступают в рукописные отделы библиотек и научных учреждений страны путевые записки XVIII и XIX веков — рукописи людей, ничем не примечательных, к литературе неприкосновенных, но считающих ведение дневника вполне естественным занятием путешественника. Сей-

час путевые заметки все более становятся уделом одних лишь литераторов и служат обычно материалом для публикуемых вскоре по возвращении из поездки путевых очерков. Сама мысль о записи своих впечатлений становится, к сожалению, все более чуждой людям, далеким от профессиональных занятий литературой.

Двадцать работников научных учреждений страны ездили в течение двух недель по Европе и Африке, видели невиданные ими прежде города, наблюдали людей и нравы. Фотографировали многие, путевых записок не вел никто, кроме отрывочных записей в залах музеев: эти перечни увиденных картин — один из самых популярных и наименее осмысленных видов записей. Это, в сущности, диктанты, не требующие от человека никакого душевного напряжения и быстро теряющие свое значение и для самого пишущего, не дающие ему впоследствии никакого материала для повторного переживания.

«Да что писать-то? Посмотрели, получили впечатление — чего еще надо?» Это недоумение тесно связано с неумением. И снова приходит естественное соображение о том, что уменье записать свои впечатления не приобретается вдруг, в тридцать или в сорок лет, что этому необходимо учить в детстве.

Вот многотомные, в наше время с тщательностью изданные П. Зайончковским дневники известных русских государственных деятелей — министров и советников царя — П. Валуева, Д. Милютина, А. Половцева... Ежедневные записи — разговоры с государем, свое личное, не всегда вслух произнесенное или в официальных бумагах изложенное мнение о состоянии дел в государстве, отклики известных лиц на внутренние и внешние события, просто слухи.... Всем известный дневник цензора А. Никитенко, составивший три толстые книги и охвативший почти полвека жизни автора, служащий сегодня важным источником для всех изучающих 1830—1860-е годы! И почти никому не известные пятнадцать тетрадей (около тысячи страниц) дневника, охватившего время с 1917 до 1933 года и прервавшегося только незадолго до смерти автора. Дневник этот был начат автором, филологом, историком русской литературы, в трудное время, когда он вынужден был служить в нескольких учреждениях, подолгу добираясь пешком из одного в другое, озабоченный очередным уплотнением

или дровяным кризисом, искать выход из которого становилось все труднее. Остается удивляться, каким образом ухитрялся он при этом делать почти ежедневные записи — подробно, разборчиво, аккуратно ставя даты, не забывая, кроме фамилий, помечать инициалы упоминаемых им лиц. По-видимому, это обращение к дневнику было для него своего рода прибежищем от дневных забот, моментом и отдыха, и насущно необходимой отдачи себе отчета в собственных чувствах и мыслях, ежедневно приводимых в сумятицу разнообразием совершавшихся событий.

Большая часть записей говорит о частной жизни автора — о служебных делах, о жилищных и топливных затруднениях начала двадцатых годов, о трудовой повинности, об изменении цен на продукты и влиянии этого на семейный его бюджет, о судьбе близких и родных.

Фиксируя письменно эти «мелкие» факты, автор дневника тем самым как бы пытался противостоять инерции быта, непропорционально сильному напору житейских забот, удручавших его и раздражавших. Неукоснительно их отмечая, он в тот момент их как бы преодолевал, над ними возвышался. В дневник попали не одни только факты этого рода — в нем отразились и многочисленные детали реформы средней школы и высшего образования и деятельности Наркомпроса, почерпнутые не из печатных источников, а непосредственно из устных докладов и частных бесед — немаловажного материала для истории общества. Но трудно предсказать, какою именно своей стороною окажется этот дневник полезнее будущему историку, и не исключено, что, скажем, скрупулезно отмеченные здесь изменения цен (30 октября 1922 года — трамвай 500 тысяч станция, 4 декабря — трамвай — 1 миллион станция, коробка спичек — 200 тысяч, номер «Известий» — 400 тысяч, 10 яиц — 5 миллионов, кружка молока — 1 миллион 200 тысяч; 21 сентября 1923 года «...газеты не по средствам» — 20 миллионов номер...) и колебания размеров зарплаты представят наиболее важный, плохо освещенный в других источниках материал.

Д. Фурманов вел свой дневник всю сознательную жизнь — с 1910 по 1926 год, записи его, как правило, озаглавлены: «Первые шаги районной власти», «Революционный трибунал», «Мой первый приговор», «Утом-

ление», «Частная беседа», «Тяжело на душе» и т. д. Это значит, что, начиная писать, Фурманов всякий раз вычленял главный фактический материал минувшего дня и сразу ставил себе определенные ограничения. Его записи — это обычно рассуждения на вполне определенную тему, заранее избранную автором. Новая тема, новые оттенки душевного состояния никогда не врываются самочинно, но непременно обозначены новым заглавием. Очевидно стремление автора придать каждой записи законченную форму, добиться некоторого единства и завершенности. Фурманову важно расчленить материал, чтобы впоследствии легко было разыскать нужные факты и даты. Ведя дневники 1917—1918 годов, он, несомненно, уже думает о возможности использования их в будущем; следит за состоянием каждого законченного дневника, подновляет стирающийся текст и пронумеровывает все записи. Действительно, многие его очерки написаны целиком на дневниковом материале; особенно широко использован дневник 1919 года в «Чапаеве». Любопытно, что в 1917—1918 годах наряду с дневником, насыщенным материалом фактическим, Фурманов ведет второй, параллельный дневник, где отражает уже главным образом свои настроения и размышления о текущем моменте.

Привычка будущего писателя подробно развивать в дневнике свой взгляд на моральные проблемы, встающие перед ним в общественной и личной практике, подчеркнуто рационалистическое отношение его к личной жизни революционера дают возможность восстановить систему взглядов, своего рода моральный кодекс автора дневников. «Я хочу выработать целую декларацию нашей любви, создать конституцию нашей дальнейшей совместной жизни. Я уже поставил ряд вопросов и на эти вопросы жду от нее ответов. Когда, продумав серьезно, она даст мне свои ответы — на достаточном основании я уже легко смогу окончательно создать эту конституцию...» Этот любопытный аспект дневников Д. Фурманова мог бы оказаться интересным не только для его биографов, но и для историков общественной мысли России первых десятилетий XX века — для тех, кто поставил бы перед собой задачу восстановления системы взглядов (и политических и этических) общественных деятелей этой эпохи. Дневники Фурманова еще недостаточно осознаны как источник исторический, зна-

чение которого выходит за пределы изучения личности и творчества писателя, как ценные документы реальной общественной обстановки определенных лет.

— Понятнее всего, по-видимому, обращение к дневниковой форме у будущего писателя.

— Но ведь не одни литераторы берутся вести дневники. Что же толкало всех этих людей к тому, чтобы ежевечерне усаживаться хоть ненадолго за свой письменный стол и делать записи — краткие ли, пространные, отданные главным образом размышлениям или сухо фиксирующие факты истекшего дня?..

В годы отроческие и юношеские — прежде всего потребность излиться, самовыразиться, доверить хотя бы бумаге переполняющие душу, заставляющие гореть голову чувства и мысли... Далее являются обычно стимулы иные — осознание роли своей как свидетеля, очевидца. Такие люди, как П. Валуев или Д. Милютин, не-





сомненно, почитали это своей нравственной обязанностью, это входило в их кодекс добросовестного государственного служения.

Стимулом может служить и сознание значительности

своей деятельности или дела, с которым волею судеб человек оказался связан.

Нередки, впрочем, такие ситуации, когда, несмотря на ясное осознание важности и даже исторического значения деятельности своей и своих товарищей, люди не могут взяться за их протоколирование из соображений личной безопасности и успеха самого дела — таковы судьбы всех политических организаций, тайно занимающихся своей деятельностью, от них почти не осталось источников дневникового характера.

Летом 1921 года, отойдя от научной работы и приступая к писанию воспоминаний, известный историк Николай Иванович Кареев признавался: «Сколько раз мне приходилось жалеть, что я не вел дневника: дневник мог бы быть такой надежной опорой для моих воспоминаний, не говоря уже о том, что и сам по себе имел бы некоторую ценность (как, положим, хотя бы дневник Никитенко). Почему, в самом деле, я не вел дневника, который начинал было в детстве. Почему? Да потому, во-первых, что в известном возрасте мне казалось это сентиментальностью, приличной разве только наивным институткам и пансионеркам. Вообще далее я всегда был скрытен и не хотел, чтобы кому-либо когда-либо попались записи моих интимных переживаний, а когда же у меня завелись политические мысли и нигилистические знакомства, я считал и небезопасным записывание многого при тех полицейских обысках, которые были столь обычным бытовым явлением. В более зрелом возрасте, при всей напряженности деятельной жизни, и мысль в голову о дневнике даже не приходила. А между тем какое это было (бы) подспорье для воспоминаний..»

Воспоминания все же были им написаны и составили много тетрадей, озаглавленных «Прожитое и пережитое».

Примечательно, что, завершив воспоминания, семидесятипятилетний профессор все же взялся за дневник — и вел его в течение последующих шести лет, до конца жизни.

В архиве Бориса Михайловича Эйхенбаума (1886—1959), сохранившемся с редкостной полнотой благодаря усилиям самого ученого и его дочери Ольги Борисовны (сейчас архив хранится в ЦГАЛИ), — более четырехсот

его писем к родителям, где с дневниковой самоаналитичностью зафиксирован путь духовного становления будущего замечательного филолога. После смерти родителей, с 1917 года, он начинает вести дневник и ведет его всю жизнь — в тетрадях, а в отдельные годы в виде кратчайших заметок в записных книжках. Длительные перерывы в записях составили всего несколько лет (1939—1940-й, с лета 1948-го до лета 1949-го, 1951-й), и тем характернее назидание, обращенное к самому себе 31 января 1958 года: «Надо записывать, хоть два слова, но каждый день — иначе пропадает смысл. Попробую выработать как привычку». Последняя запись — 7 октября 1959 года: «Работы и суеты так стало много, что записывать вовсе некогда, хотя впечатлений всевозможных (виолончельный концерт Шостаковича) и разных дум масса...».

Властным стимулом к писанию дневника оказывается иногда — к сожалению, гораздо реже, чем это казалось бы естественным и чем требуется это для истории и науки! — личная близость автора к человеку незаурядному — ученому, писателю, художнику... Необычайно благоприятная в этом смысле обстановка создалась вокруг Л. Толстого. В Ясной Поляне все вели дневники (большое влияние оказывал, возможно, личный пример хозяина) — Софья Андреевна, дочери, доктора, секретари... Приезжавшие друзья дома тут же начинали делать записи о разговорах с писателем — то главным образом, ежевечерне, оставшись в одиночестве в своей комнате, как Д. Маковицкий (эти записи составили сегодня четыре тома «Литературного наследства»!), а то и во время разговора, водя карандашом прямо в кармане, как А. Гольденвейзер. Результаты этого трудно переоценить — жизнь Толстого последних десятилетий тщательным образом задокументирована; исследователям известно множество фактов и дат, относящихся к творческой истории его произведений. Не менее важно, что сохранилось огромное количество его высказываний на самые разные темы, запечатлено множество крупных, мелких и мельчайших черт его личности, которые позволяют уже не одним исследователям Толстого, а всем его читателям собрать некий почти видимый облик писателя в старости — именно так, как если бы мы его видели... По противоположным обстоятельствам мы гораздо хуже представляем

себе молодого Толстого (хотя о нем и написаны замечательные страницы воспоминаний).

Дневниковых записей людей, близких к А. Чехову, осталось ничтожно мало. Почему? Мы вправе задавать этот, пусть в высшей степени риторический вопрос. Жена Ф. Достоевского, Анна Григорьевна — один из самых высоких примеров самоотверженной преданности делу мужа и его личности — вела дневник лишь в первый год супружества, далее рождение детей, их болезни, постоянная нужда сделали, по-видимому, невозможным это занятие. Замкнутость писателя, особенности самого его жизненного уклада не создали вокруг него атмосферу всеобщего внимания к произнесенному им слову; среди людей, близко знавших Достоевского и, несомненно, высоко ценивших, не оказалось тех, кто осознал бы необходимость документирования его жизни — в интересах истории.

...История показывает, что это соображение приходит людям в голову в последнюю очередь. Здесь есть некий порог, который оказывается трудно перейти. Те же самые люди, которые со всею самоотверженностью будут помогать близкому или почитаемому ими человеку во всех тяготах его жизни — облегчать материальные условия существования, способствовать изданию его работ, создавать покой, потребный для творчества, — в большинстве случаев вовсе не задумываются о долге иного рода. И это понятно — насущные потребности живого человека, находящегося перед их глазами, так очевидны, так настоятельно требуют их участия, а нужды будущей славы его имени так далеки и неопределенны, и первое так очевидно превышает второе... Да и сверх того видится нечто нецеломудренное в том, чтобы тут же брать на кончик пера это трепетанье столь близкой и дорогой жизни... к тому же жизнь эта столь сложна, многосоставна; в ней есть минуты и малодушия, и неправого раздражения, и неожиданного в служителе муз практицизма, и безбрежной самоуверенности, и самого отчаянного сомнения в своих силах и целях... Коли фиксировать весь этот нестройный поток текущей частной жизни, не затемнится ли тем самым лицо объекта вашего в глазах потомков?.. Эти и десятки других соображений, а чаще всего — отсутствие самой мысли о такого рода работе — во все времена мешали людям выполнить прямой их нравствен-

ный долг, мешают и теперь. Именно на этого-то рода деятельность и не хватает времени — постольку, поскольку человеку не заронено сознания безусловной ее важности.

Е. Булгакова, в высокой степени обладавшая пониманием значительности жизненного дела своего мужа и исторического смысла связанных с его именем документов, с редким тщанием заботилась не только о сохранении его рукописей, но и закреплении следов его жизни и деятельности. Спустя год после заключения их брака, с 1 сентября 1933 года, Елена Сергеевна стала вести по его просьбе дневник (сам Булгаков, уничтожив свой дневник в конце 20-х годов, никогда более его не заводил). Ежедневно, с редкими перерывами, отмечала она факты, имеющие, по ее разумению, отношение к литературной судьбе мужа — замыслы и этапы их воплощения, деловые и дружеские встречи, фиксировала — правда, в очень сдержанных формулировках — его отношение к некоторым общественным, литературным и театральным событиям 1930-х годов. Дневник этот она вела почти до последних дней жизни Булгакова. В те дни, пораженная глубоким отчаянием, жена писателя сумела сохранить ясное сознание своего долга перед будущим; результатом этого явились точные записи хода прогрессирующей болезни и предпринимаемых медицинских мер, тетради с наклеенными в хронологическом порядке врачебными заключениями, назначениями, рецептами... История литературы не раз продемонстрировала интерес последующих поколений — не только исследователей, но и широкой читающей среды — к такого рода сведениям, особенно же — в случаях бесспорно ранней смерти, как это было с Булгаковым, не дожившим до 49 лет. И перед нами — беспрецедентный, кажется, случай, когда документы этого рода оказались собраны едва ли не с исчерпывающей полнотой. Остались и фотографии писателя, сделанные за неделю до смерти, — красноречивые свидетельства силы духа умиравшего и его жены, и тетрадь с описанием первых дней после смерти писателя, гражданской панихиды — с перечнем выступавших, с деталями общей атмосферы события и первых шагов по разбору архива и подготовки текстов для издания. Эти навыки обращения с документами жизни и творчества писателя Е. Булгакова сохранила и впоследствии; копии ее

писем в государственные и общественные организации, содержащие ходатайства по поводу публикации произведений Булгакова, письма к ней читателей, исследователей, постановщиков пьес писателя — все это служит сегодня редким по своей полноте и выразительности материалом для изучения тридцатилетней посмертной истории его творческого наследия.

Заметим, что от прошедшего века осталось много дневников женщин — жен государственных или общественных деятелей или людей искусства. Непременная роль хозяйки дома, а нередко и признанной держательницы салона — полноправной участницы всех бесед, заставляла женщину ощущать жизнь свою находящейся в круговороте интересных разговоров и событий и приводила к мысли об их фиксации. Чаще же эту мысль замещала все та же *привычка* вести дневник, внушенная с детства. Эта привычка избавляла от необходимости делать усилие над собой, переступая порог между живою жизнью и письменным ее запечатлением; порога этого не существовало — это были разные формы одной и той же жизни, состоящей из известного набора естественных для женщины определенного круга занятий.

Разумеется, дневник этот велся не для истории; в нем находили себе место и переживания глубоко личные, и мелочи хозяйственного уклада. Но прошло время — и он стал историческим источником. Взгляд ученого с неизбежной холодностью «отслоил», отпластал то, что, быть может, наиболее занимало автора дневника, от того, что, упомянутое походя, оказалось наиболее важной подробностью для будущего его читателя. Значит ли это, что человек, пишущий дневник, может и должен подравниваться к будущему этому взгляду? Заведомо не может, да и не должен. Не только потому, что дневник, как никакой другой документ, пишется о себе и для себя, но и потому, что никто не знает наверное, какие строки нашей деятельности и свойства нашей личности (каждого из нас — прямо или косвенно!) могут быть востребованы в будущем как наиболее любопытные, полезные, проливающие свет на некие особенности нашего, с нами вместе ушедшего времени. Но ведь есть же, наверное, дневники сугубо личные, никому не интересные, кроме их автора? В среде архивистов принято, например, ходячее определе-

ние — «типичный дамский дневник». Оно порождено взглядом вполне определенным — взглядом источниковеда, обращенным на документ, в котором тот ищет прежде всего фактов жизни общественной в широком смысле слова — имен лиц, известных своей научной, педагогической, литературной, общественной или издательской деятельностью, упоминаний о важных событиях. Перевес субъективно-лирического, условно говоря, элемента над объективно-эпическим воспринимается под этим углом зрения как свойство, обесценивающее документ. Однако приходилось видеть дневники, во многом лишенные такого рода сведений, сосредоточенные на сугубо личном интересе, рассказывающие только о перипетиях личной судьбы, до отказа наполненные страстным личным отношением ко всему, что попадало в поле зрения автора, — отношением, казалось бы, деформирующим описываемые факты, делающим их непригодными для использования... Но поразительная полнота самораскрытия, острота видения, адекватность слова переживанию и, если можно так выразиться, повествовательный темперамент превратили эти дневники в документ, близкий литературному. Можно с достаточной долей уверенности предполагать, что со временем они будут изданы и прочтены с захватывающим интересом как своеобразная повесть о жизни — жизни частной, но несущей на себе глубокие нарезы важнейших общественных событий описанного времени. Образ чувств и мыслей нашей современницы, выразившийся с редкой свободой и раскованностью, станет сам по себе предметом изучения; «дамский дневник» станет источником для тех, кто займется изучением социально-психологического облика поколения.

Да, взгляд источниковеда придирчив; он квалифицирует как «пустой» документ, в котором не находит фактов. Но с более широкой, чем источниковедческая, точки зрения необходимо согласиться, что пустых дневников не существует вовсе. Прекрасное свидетельство этому дал А. Блок в статье 1918 года «Дневник женщины, которую никто не любил». Он рассказал там, как попали к нему замызганные тетради дневника, целиком занятого теми самыми переживаниями, которые принято именовать личными, как женщина ушла, а дневник остался лежать на столе, неприятно торча из-под книг «своими потресканными грязными клеенками», как

взялся наконец он за чтение: «Почерк несуществующий, написано грязно — то черными, то красными чернилами (все, вероятно, в разных местах, всегда чужих, неудобных), исчиркано чьим-то карандашом, захватано пальцами. Ужасная повесть». А. Блок последовательно отмечает такие свойства рукописи, как вульгарный жаргон, умственное развитие автора — ниже среднего, «полное отсутствие не только художественного развития, но и чутья» и наконец пишет: «Сознавая все эти убийственные недостатки дневника, я спрашивал себя при чтении, почему испытываешь волнение, перелистывая эти сотни наивных страниц, заполненных чудовищной безвкусицей и постоянными повторениями? — Такой безвкусицы не сочинить, она может только родиться...» И А. Блок реконструирует личность той, что писала дневник, по беспомощным ее записям, а затем дает свое определение значимости такого рода документов, которое нелишне будет вспомнить и нынешнему архивисту, решающему вопрос — брать ли на хранение вполне рядовой дневник, наполненный «личным» материалом: «И я, вспоминая всю эту жизнь целиком, вижу подобие какой-то бесформенной и однородной массы; точно желто-серый рассыпчатый камень-песчаник; но, мне кажется, в эту желтую массу плотно впились осколки неизвестных пород; они тускло поблескивают.

Освобожденные и отшлифованные рукою мастера (мастера жизни, конечно!), они могли бы заблестеть в венце новой культуры.

Такова ценность всякого искреннего «человеческого документа», — заключает поэт.

Иногда же автор дневника заранее предвидит его документальное значение, как бы сам смотрит на него со стороны, взглядом источниковеда.

Видно, что, приступая к своим записям, такой автор уже имел в виду будущего читателя — историка эпохи, и стремился быть ему полезным.

Военный министр Александра II Д. Милютин начал свой дневник в наиболее напряженный момент своей государственной деятельности (когда он пытался провести в жизнь свою известную военную реформу, впервые вводившую в России всесословную воинскую повинность, а также систему резервных и запасных войск). Первая запись в дневнике такова: «Принимаюсь вести

свой дневник только теперь, на 57-м году жизни, побуждаемый к тому пережитыми в первые три месяца текущего года непрерывными неприятностями и душевными волнениями». Д. Милютин объяснял, что в первую очередь «для ограждения собственной своей нравственной ответственности перед судом истории» предполагает он «и впредь заносить в свой дневник все последующие факты, могущие пригодиться будущему историку для разъяснения закулисной стороны нашей общественной жизни».

Прямая адресованность дневника Д. Милютина будущим историкам определила отбор фактов и самый его стиль. Записи деловых бесед и собственных соображений по разным государственным вопросам подробны, сухи и корректны: в них очевидно старание автора не пропустить на страницы своего дневника ничего «домашнего», ничего слишком личного, пристрастного, продиктованного внеделовыми симпатиями и антипатиями: никаких мгновенных впечатлений — только обдуманные и осторожные характеристики: «...в субботу имел я продолжительный разговор с кашгарским посланцем, который непременно желал быть у меня неофициально. Я нашел в нем человека умного, с тонким азиатским тактом. Беседа наша от обычных учтивостей нечувствительно перешла на политические предметы. Посланец Якуб-бека вел себя настоящим дипломатом. Расстались мы, по-видимому, довольные друг другом»; «Вечером заехал я к баронессе Раден проститься по случаю отъезда. Умная и доброжелательная женщина». Даже действия врага своего, неизменного яростного противника всех его реформ министра просвещения Д. Толстого он аттестует недвусмысленно, но не выходя, однако, из границ холодноватой сдержанности слова и чувства — сдержанности, явно дающейся не без труда: «Оружие его было все то же, какое он всегда имеет привычку употреблять — ложь и искажение фактов». Его записи — это отчеты, рапорты будущей истории; не только годами выработанная привычка к точности формулировок, но, несомненно, и забота о будущем читателе видна в том, как четко излагаются все события, полностью именуются все упоминаемые лица — вплоть до членов собственной семьи, о жизни которой рассказано в том же тоне военных реляций: «2 старшие дочери уехали на Кавказские мине-

ральные воды, вследствие внезапного решения врачей; с ними выехала самая младшая дочь Елена и племянница, чтобы на пути провести несколько дней в тамбовском имении Вяземских и Вельяминовых и потом, вместе с третьей дочерью Надей, которая уже там находилась дней 10 ранее, ехать в Одессу; здесь они должны съехаться с матерью своей, которая выехала только вчера с дочерью Марусей. В Крыму они встретят сына, который прибудет туда из Поти».

В течение 29 лет Д. Милютин ведет свои записи аккуратно, большей частью ежедневно со всею неукоснительностью человека, несущего военную службу, и редкие пропуски неизменно мотивирует: «Ровно месяц не заглядывал в свой дневник; во все это время нечего было записывать»; «Почти целую неделю не открывал своего дневника, что служит признаком отсутствия чего-либо заслуживающего быть вписанным». Это дневник, заведомо готовившийся автором не просто для узкого круга читателей, а для печати: нередко делались черновые наброски записей, прежде чем занести их в дневник; впоследствии дневник неоднократно исправлялся, а в 1900 году был переписан набело дочерьми Д. Милютина по непосредственным его указаниям. Он готовил не «сырой» исторический источник — за излагаемыми фактами следует его собственный их анализ, с которым может не согласиться будущий историк, но который он не сможет обойти вниманием.

Известный дневник журналиста, издателя «Нового времени» А. Суворина, изданный еще в 1923 году, в выдержках, представляет собою совершенно иной, едва ли не противоположный тип документа. Он писан был не для печати и не для истории, обрывочно, со случайными пропусками иногда по полгода и более того. «Я записываю очень неаккуратно. Когда есть что записать и стоит, я либо не имею времени, либо забываю. Таким образом, моя запись — совершенно случайная. С 24 сентября ни строки не записано, а столько людей видел и столько слышал вещей интересных. Но раз не записал, все это исчезает из памяти». А. Суворин, в сущности, не вел свой дневник, а как бы снова и снова приступал к этому занятию: «Сто раз начинал записывать, и никогда не хватало выдержки»; об одной знакомой, которая «чуть ли не с детства ведет дневник», он кратко замечает: «Прославится!» Когда записные тетради

А. Суворина были найдены, то не сразу были опознаны в качестве таковых, поскольку, как сообщал первый их публикатор, не несли на себе «внешнего отпечатка» дневника: «Они исписаны крайне неряшливо, лишены заглавия, вдоль и поперек испещрены вводными финансовыми расчетами, изобилуя самыми разнообразными, лишенными внутренней связи литературными выписками. Поэтому-то дальнейшие обладатели «Дневника» и не придали ему значения, считая, по-видимому, его чем-то вроде рукописной макулатуры...»

Отметим тут же, что именно эти особенности рукописи, в том числе и на редкость неразборчивый почерк Суворина, повлияли на качество публикации. Недавно, готовя текст дневника для переиздания, литературовед Н. Роскина прочитала заново все рукописи и обнаружила множество пропусков и неверных прочтений. Например, запись одного из чеховских высказываний в изданном тексте выглядит так: «Я не могу утешиться тем, что сольюсь с *вздохами* и *муками* в мировой жизни, которая имеет цель», тогда как в рукописи — «...с *козявками* и *мухами»*. Вот зачем нужны рукописи *напечатанных* текстов!

На страницах этого дневника автор как нельзя более наедине с самим собою. Он не стесняется ни в темах, ни в словах: явно не озабоченный обелением своего имени перед каким-либо воображаемым читателем, он записывает как бог на душу положит, мешая важное с неважным, перемежая острые и нередко презрительные характеристики своих современников (включая и царствующую фамилию) достаточно беспощадными автохарактеристиками («Только похвалы печатаешь с легким сердцем, а чуть тронешь этих «государственных людей», которые, в сущности, государственные недоноски и дегенераты, и начинаешь вилять и злиться в душе и на себя и на свое холопство, которое нет возможности скинуть») — и открывается неведомому ему читателю с неожиданных сторон... «Влиятельный правительственный публицист, близкий ко двору, руководитель официоза, — наедине с самим собою презирает и честит и двор, и царя, и правительство, равнодушно записывает о своем же органе: «Дрянно и бесцветно ужасно» — и жалеет о разгроме революции 1905 года, в котором принимает участие», — эту не совсем обычную особенность «Дневника» отметил пер-

вый же его рецензент. В дни болезни Л. Толстого в 1902 году А. Суворин записывает: «31 января отобрали подписку в магазине не выставлять портретов Толстого и от Главного управления по делам печати сказали, что портрет Толстого нельзя помещать ни в каком случае и никогда. Очевидно, эти парни рассчитывают на бессмертие! Действительно, бессмертные дураки, ибо трудно предположить в будущем еще больших дураков. Когда Гоголь умер 50 лет тому назад, Тургенева посадили под арест за то, что он напечатал статью о Гоголе, назвав его гениальным писателем. Теперь Гоголь во всех учебных заведениях, и ему ставят памятники. Совсем не надо 50 лет, чтоб Толстой дождался памятника, а Сипягин (министр внутренних дел. — *М. Ч.*) позорного клейма на свой идиотский лоб». Сочувствие, с которым читаются записи такого рода, не может вытеснить из сознания читателя мысли о темных сторонах личности и деятельности самого А. Суворина, мысли о лицевой стороне медали, которую сторона оборотная не в силах подправить. Но двухмерную плоскую картинку дневник как бы заменяет объемной — и в этом прежде всего его литературная и историческая ценность. Помимо пересказов разговоров с А. Чеховым и Л. Толстым, с А. Доде и Э. Золя, в этом дневнике множество разнообразных штрихов общественной жизни конца прошлого и начала нынешнего века, и без этих штрихов неполна ни история этой эпохи, ни биография и личность того человека, деятельность которого была одним из характернейших ее знамений. И именно вольность изложения, неизменная обращенность своего слова к самому же себе, нестесненность заботой об «историческом» своем лице породила, быть может, наиболее яркие страницы дневника, показав еще раз неизменно двойное назначение каждой человеческой жизни: в том-то и дело, что живем мы для себя, а нуждается в нас история.

Впрочем, нередко автора стесняет его собственное присутствие в своем дневнике. Он с методичностью делает скупые записи о событиях, но не в силах записывать свои о них соображения, фиксировать чувства. А. Жемчужников пишет о своем уже упоминавшемся нами неопубликованном дневнике: «Меня он интересует потому, что, прочитывая прошлый год, я вспоминаю все обстоятельства того времени, даже те чувства и мысли,

которые в тот день были. Самые мысли и чувства я записываю очень редко, а также характеристику встречаемых мною лиц или оценку происшествий или впечатлений от чтений. Во-первых, это берет много времени, а во-вторых, если это не делается само собою, так сказать, не вырывается поневоле, а происходит обязательно с намерением непременно что-нибудь сказать интересное и дельное, то легко можно впасть в позировку (рисоваться) или в сочинительство, неправду». Эту протокольность, сухость своего дневника он ясно сознавал и не раз подчеркивал: «Вообще мой материал не интересен. Внутренней моей жизни из него не видно. Нет ни чувства, ни мыслей или почти их нет. Я не в состоянии выписывать их каждодневно на ночь» (25 июля 1885 года). Начав было отмечать особым значком наиболее интересные записи («Я делаю это как для себя, когда, бог даст, когда-нибудь стану переписывать мой дневник, так и для моих дочерей»), он тут же сомневается и в этом: «Опасаюсь только, что стану «невольно» рисоваться, чтобы заслужить эту отметку» (1 июля 1896 года). Такая закрытость, скованность, излишняя подозрительность в отношениях с самим собой, конечно, мешает задаче дневника; но и в дневнике — протоколе событий историк найдет необходимые ему факты.

А в дневнике Александра Александровича Любищева? Писатель Д. Гранин описывал его так: «Повсюду я натыкался на краткий перечень сделанного за день, расцененный в часах и минутах и еще в каких-то непонятных цифрах... Ничего из того, что составляет обычно плоть дневников, — ни описаний, ни подробностей, ни размышлений... Не существует никаких правил для ведения дневников, тем не менее это был не дневник. Сам Любищев не претендовал на это. Он считал, что его книги ведут «учет времени». Как бы бухгалтерские книги, где он по своей системе ведет учет израсходованного времени». И сколько времени, как выяснилось, отвоевал таким образом ученый у бегущего времени!..

А в рисованном дневнике сегодняшнего студента? Схему этого дневника прислал в «Комсомольскую правду» студент из Иванова в ответ на публикацию интервью с автором «Бесед об архивах». «Вести РД, — пишет он, — надо, конечно, ежедневно, но труда это совершенно не составляет. Я пользуюсь многочисленными, понятными для себя сокращениями, которые позволяют

делать запись очень лаконичной... Что дает такой дневник: четкий (от четкости ведения, конечно, зависит) отпечаток всех своих основных действий. В случае надобности не нужно припоминать, напрягая память, — достаточно взглянуть, чтобы вспомнить, что и когда было сделано, что произошло, чем был примечателен любой отрезок времени.

РД я веду пока из личного интереса (и даже удовольствия), но почему-то думается, что в дальнейшем он может представить интерес не мне одному.

Вести РД очень несложно, он занимает не более 5 минут в день. Только его надо иметь всегда при себе, как электробритву, чтобы раз в день воспользоваться».

Говоря о дневнике такого типа — «карманном», удобном, так сказать, в обращении, напомним, что массовость источников дневникового, эпистолярного характера будет важна в будущем науке для решения множества проблем — и будущий исследователь был бы рад большому количеству последователей ивановского студента...

Какой же дневник предпочтет архивист? Как мог уже увидеть читатель, дневники разных — по складу характера своего, по способу отношения к миру, по мере самооценки и прочее — людей становятся источниками разного назначения.

Именно поэтому и нельзя, в сущности, ответить с определенностью на вопрос — как вести дневник? Что именно в нем записывать? Самые разнообразные факты времени нуждаются в письменной их фиксации — также и те, что отразились в текущей печати. Это нужно прежде всего самому человеку: уже через год-два он не вспомнит точно того, что, казалось, не может забыться: даже перечень имен в опубликованном документе оказывается разным в памяти собеседников-современников, а всем им казалось, что они не забудут этого никогда!

— Какой же прок будущему историку в том, что он натолкнется в дневнике на факт, отраженный в печатных источниках?

— В том и дело, что перед ним будет факт иного рода, характеризующий уже восприятие некоего события общественным сознанием современности. Существует особая проблема — пробелы в источниках. Одни области жизни общества неизменно фиксируются в докумен-

тах разных эпох с наибольшей степенью полноты, другие — с наименьшей.

Польская исследовательница этой проблемы Ц. Бобиньска пишет: «Из всех форм и проявлений общественной жизни наименее равномерно отражена в источниках история общественного сознания и общественной психологии. Чаще всего мы вынуждены искать свидетельства об этом в произведениях литературы и искусства исследуемой эпохи».

Понятно, как помогают заполнению этих пробелов материалы личных архивов. Ваше отношение, неминуемо отражающееся в дневнике, преобразует все факты,





попадающие в поле нашего зрения, делая их ценными и для социолога, и для историка.

«Но тот, кто склонен к измышлениям, будет фиксировать свои измышления», — возражала нам одна из читательниц Однако историк знает (или должен знать), что измышления — совсем не отрицательная величина для исследователя. В том случае, когда не сохранилось достоверных сведений о данном событии, они могут помочь его реконструировать, если удастся верно вычис-

лить угол искривления. Но даже если историк располагает точными фактами, ему важно знать, в чем и почему ошибались относительно этих фактов современники. У измышлений тоже есть свой язык, своя «грамматика», хотя они представляются нам хаотичными; они имеют под собой почву, подчиняются определенной логике и будут интересны историку и социологу в самых разных аспектах. Поэтому скептические замечания — «Ну что такой человек может написать?» — не заражают скепсисом архивиста. Он знает: дневники, мемуары, разрозненные записи самых разных людей по-разному, но все же выполняют свою функцию.

Напомним к тому же, что источниковедческая ценность дневника, как и любого документа, — категория подвижная. Путь науки безостановочен, в ней не может быть ни момента подлинного и окончательного установления иерархии имен и явлений, ни документа, навсегда отодвинутого в темный угол исторического внимания.

В большинстве случаев человек плохо представляет себе степень ограниченности человеческой памяти и потому, стремясь в дневнике своем зафиксировать то, что, как ему кажется, он может забыть, он не упоминает о том, что, как он уверен, забыть не может. Между тем известны случаи, когда за давностью лет люди забывали даже свое авторство. Разительные примеры этого рода приводит С. Рейсер в своей книге «Палеография и текстология» (второе ее издание вышло в 1978 г. под названием «Основы текстологии»). И. Репин, приглашенный для удостоверения аутентичности приписывавшейся ему картины, «долго ее рассматривал, сидя в кресле, наконец встал и сказал: «Не знаю, не помню, писал я эту картину или нет».

Н. Чернышевский, составляя по возвращении из ссылки в 1888—1889 годах списки своих статей, против знаменитой своей рецензии на «Детство и отрочество» Л. Толстого (где сформулирован был среди прочего ныне известный всем школьникам его тезис о «диалектике души» как характерной особенности художественной манеры молодого писателя) написал — «едва ли». «К счастью, — прибавляет к этому автор книги, — сохранился автограф и список, составленный им же в 1861 году, где эта рецензия значится».

О неустойчивости человеческой памяти, о склонности ее невольно переиначивать события писал замечатель-

ный знаток документа Ю. Тынянов. Рассказывая о том, каким образом строится историческим романистом жизнь его героя — лица, реально существовавшего, — он рисовал воображаемую встречу с ним: «Если бы вам довелось с ним встретиться, мог бы произойти такой разговор:

— Ну это совсем, кажется, не так было. Вы напутали.

— Но ведь вот ваше письмо об этом.

— Да, в самом деле. Как странно!

А вот относительно того, на чем вы не настаиваете, что вы выдумали, может случиться, что человек тряхнет головой и неожиданно пробормочет:

— Да, вспоминаю.

Ведь много времени прошло».

Такой эксперимент доступен каждому. Попробуйте через неделю после события или разговора записать то, что запомнилось, и покажите другим очевидцам. Сразу обнаружатся резкие разногласия. Один решительно отрицает, что красноречивые слова, записанные вами, были произнесены в разговоре; другой — «слышал их своими ушами», но так же решительно настаивает, что принадлежат они не тому лицу, которому вы их приписали, третий громко удивляется богатству вашей фантазии и уверяет, что лицо это при разговоре вовсе не присутствовало, да и разговор-то, кажется, шел совсем о другом...

Потому дневник как источник оказывается предпочтительнее мемуаров, написанных много лет спустя, — так же, как и письмо, написанное по горячим следам события; потому же человек, ведущий дневник, должен взять себе за твердое правило делать записи в тот же день, не надеясь даже на завтрашнюю свою память, тем более не откладывая фиксацию события на недели и месяцы, иначе дневник ваш приобретет уже, в сущности, характер источника иного рода — мемуаров.

...Человек, приступающий к писанию дневника, встретит немало препятствий — и внешних и внутренних. Множество предупреждений о трудностях дневниковой формы и самой затеи дневника со всех сторон услышит он, и среди них различимы будут и самые авторитетные голоса.

Л. Толстой, приступая к своей «Истории вчерашнего дня», пояснял: «Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления, хотя темных, неясных, но не менее того понятных душе нашей, проходит в один день.

Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга и такая, что недоставало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать». Недаром «История вчерашнего дня» так и осталась незаконченной.

Эти суждения не должны смутить человека, решившегося вести дневник. Он заранее должен принять для себя множество ограничений, заранее смириться с тем, что правдивая запись самому ему покажется фальшива; ему не удастся скорее всего «рассказать задушевную сторону жизни» даже одного своего дня. Оправданием ему послужит то, что он чаще всего и не будет ставить себе задачи литературной, задачи адекватного, возможно более полного запечатления особенной физиономии явления, характера, даже вчерашнего разговора, а выберет себе более скромную роль летописца, передающего не целостный облик явления, а его «краткое содержание», не «интонацию», а тему разговора — и т. п. На эту задачу ему «достанет чернил».

Повторим еще раз: есть множество аргументов — и достаточно веских — против того, чтобы вести дневник. Мы исходим, однако, из уверенности, что главный аргумент никогда почти не участвует в споре, хотя он-то и решает дело в 99 случаях из ста. Нет, не по высоким мотивам или бесспорным причинам не ведут дневники подавляющее большинство наших современников, а по тем же самым, совершенно тривиальным, по которым, скажем, не заучивают ежедневно 15 английских слов, не делают утреннюю гимнастику или не бегают — трусцой ли или в полную силу... Главным аргументом остается здесь инерция быта, привычка к комфорту, который для многих заключен не в дорогих вещах и даже не в каких-то особенных удобствах, а более всего — в сохранении статуса, сложившегося образа жизни.

Сейчас мы переживаем момент, когда культура становится в точном смысле слова массовой — главным образом из-за массовых средств ее распространения. Кроме всем известных положительных сторон, процесс этот имеет свои достаточно сложные, не поддающиеся однозначной оценке свойства. Все чаще в печати высказывается беспокойство по поводу того, что взаимодействие человека с культурой носит все более пассивный характер.

Можно сказать, не боясь преувеличений, что до распространения массовых средств информации человек, какой бы профессии он ни был, так или иначе вынужден был напрягать собственные духовные способности для того, чтобы выйти хоть на время за границу привычного быта с его сугубо «материальными» чертами. Где бы он ни жил, в какой дали от столиц, он создавал вокруг себя (не говорим уже о тех людях, которые влияли на многих) некий оазис духовной жизни, творчества — было ли это пение народных песен или писание по вечерам дневников и записок. Теперь человек в сильном магнитном поле общей культуры, нередко пассивно усвояемой и не понуждающей к личной деятельности этого рода. Все подается в готовом виде, не требуя усилий, — недавно по радио исполнялся даже общеизвестный «Хас-Булат», так что тем, кто не мыслит без этой песни свою застолицу, можно уже не утруждать себя, а включить радио и помахивать в такт вилкою. Этому магнитному полю надо противостоять, и тот, кто по вечерам, уединившись, будет присаживаться время от времени за свой дневник, уже возьмет на себя важную культурную функцию, как мы пытались показать на многих предшествующих страницах.

Говоря вполне серьезно, нам хотелось бы уверить читателя, что автор сознает всю щекотливость своих призывов — вести дневники, да еще фиксируя факты по возможности «открытым текстом», избегая условных обозначений (ведь будущему историку их вряд ли удастся расшифровать); разумеется, мы исходим из того, что дневник, оставаясь на всем протяжении вашей жизни документом сугубо интимного значения, должен быть надежно скрыт от посторонних глаз, застрахован от всевозможных опасностей и случайностей: кроме ваших личных тайн, там имена других людей, а значит — их судьбы! Понимая все это, оставаясь в здравом уме и твердой памяти, мы все же считаем возможным повторить свои призывы со всей убежденностью в необходимости увеличить невидимое сообщество летописцев нашего времени — людей, обычно не знающих друг о друге, но ежедневно, ни у кого не прося совета и помощи, сообразуясь только с собственным нравственным чувством, выполняющих за всех нас работу, неоценимую для будущей истории.

Так что профессия, спору нет, в высшей степени не так уж очень особенно бесполезная.

Единственно, я говорю, профессия тем нехороша, что не дает много беспечной радости своему владельцу.

М. Зощенко

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

— Но нельзя не задуматься над тем, кто и когда сумеет все эти писания прочесть, переработать? Да и вообще — как выбрать нужное в той огромного объема информации, которая покоится в архивах и все прибывает, прибывает в них?

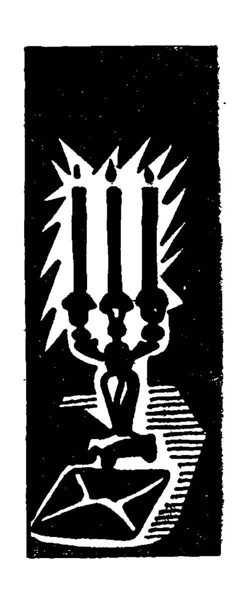
— Проблема эта в применении к архивам, как и ко всей культурной и научной деятельности нынешнего человечества, достигла крайней остроты.

По меткому замечанию одного ученого, в настоящее время каждый факт обрастает одеждой из документов. Сейчас объем одной только делопроизводственной документации удваивается каждые несколько лет. Авторы «Трудов», издаваемых созданным тринадцать лет назад Всесоюзным научно-исследовательским институтом документоведения и архивного дела, пишут: «Если бы каким-то чудом до нас дошли все источники, возникшие в XVI веке, мы смогли бы сохранить, обработать и освоить весь их объем. Что же касается середины XX века, то здесь даже сумма источников, возникших за год, превышает реальные возможности освоения».

Пессимистичность этих слов не должна, однако, пугать. Современная архивная наука ищет подходы к решению проблемы в разных направлениях. Если говорить о документации, порождаемой деятельностью учреждений, здесь теория архивного дела может прямо помочь сокращению объема бумаг. Она ищет пути свертывания информации — и в наличных уже документах, и прогнозируя объем и характер будущей документации.

С личными архивами дело иное. Их формирование нельзя направить по предустановленному руслу. Оно прихотливо, связано с непредсказуемой человеческой судьбой, с перипетиями частной жизни. Здесь выход один — совершенствование системы поиска информации.

Между прочим, об этом задумывался еще Н. Калачев, стоявший у истоков архивного дела в России, одним из первых, как мы уже говорили, осознавший научное значение архивов. Настаивая на необходимости





устройства губернских исторических архивов, а при них — ученых архивных комиссий, он надеялся, что по мере составления этими комиссиями описей принимаемых в губернские архивы от самых разных учреждений документов, описи эти будут поступать в Археологический институт (им же основанный) — и «он сделается центральным хранилищем всех описей и указателей...».

Идея этого сосредоточения в одном месте единого справочного аппарата по всем хранилищам не осуществилась до сих пор. Служба информации об архивах

еще никак не насыщает нужд науки. Не так давно стала складываться новая отрасль архивного дела — документалистика. Она занимается вопросами механизации процесса накопления, хранения и поиска информации. Сократить угрожающе увеличивающийся разрыв между накопленным материалом и возможностью использовать его — задача труднейшая. Между тем от решения ее прямо зависит развитие науки, и недаром советские исследователи полагают, что оптимальный уровень затрат на системы поиска должен составлять $^1/_5$ ассигнований на науку.

В чем сложность налаживания информации об архивных источниках? Прежде всего в том, что затруднена их предметно-тематическая систематизация. Каждый человек, бывающий в библиотеках, представляет себе ящички систематического каталога, где за каждым разделителем с названием некоторой темы стоит ряд карточек с названиями книг или статей, посвященных в основном этой теме. С архивными материалами это сделать трудно. Начнем с того, что систематизировать таким образом сами материалы невозможно — ни с архивной, ни с научной точки зрения. Нельзя вынуть из всех архивных фондов материалы об Отечественной войне 1812 года — письма, воспоминания, реляции и прочее — и сложить их, так сказать, в особый угол. Такое перекладывание привело бы к разрушению исторически сложившихся комплексов — и для исследователей навсегда была бы потеряна возможность исследования фактов в их исторической взаимосвязи. Многозначность документа возрастает, когда он хранится в составе целостного фонда — лица или учреждения. Потому, кстати сказать, единичные поступления обычно описываются в печатных справочниках гораздо подробнее, чем отдельный документ в описи целого фонда; архивист знает, что сам фонд многократно дополнит для исследователя представление об отдельном документе, он «оживет», обрастет многими связями.

В одном и том же фонде хранятся нередко письма и прадедов и правнуков, ученые исследования и детские рисунки, альбомы с автографами поэтов и хозяйственные материалы помещичьего землевладения — словом, в нем сосредоточены источники для исследователей самого разного профиля.

Но разнести документы одного фонда по разным

полкам хранилища нельзя не только по самому принципу архивного дела (в разных странах он называется по-разному — принцип происхождения, принцип уважения к фонду и т. д.). Напомним, что не только целый фонд, но и один рукописный документ, рассмотренный под разными углами зрения или в разные периоды жизни общества и развития науки, поставляет материал для решения разнообразных научных задач. И потому письмо, в котором историк Отечественной войны 1812 года видит только «свой» материал, не должно уходить из виду других специалистов, не должно накрываться шапкой одной, пусть даже с сегодняшней нашей точки зрения главенствующей темы.

Казалось бы, дело спасет предметный каталог. Но здесь есть свои трудности. На VII Международном конгрессе архивов в Москве, где особенно остро была поставлена проблема информации, большинство участников высказывались против предметного принципа: слишком редко совпадает взгляд архивиста на предметную ориентацию документа со взглядом исследователя! Архивисты разных стран сходятся сейчас на том, что справочный аппарат хранилищ должен ориентировать в структуре архивов, а не в тематике материалов.

Но выход ли это? Во всяком случае, с точки зрения современных требований существующий справочный аппарат очень мало эффективен: он имеет крайне ограниченное число «входов» для розыска информации — чаще всего один (опись), иногда два — когда к описи прибавляется каталог. В каталогах же информация также отыскивается по одному только признаку — алфавиту, номеру и т. д.

Между тем даже простейшие кибернетические методы, как утверждают исследователи этой проблемы, — например карты с краевой перфорацией — повышают число входов в 10 и 100 раз, делая поиск многоаспектным. В именном каталоге документ отвечает лишь на вопрос, является ли его автором (или адресатом и т. п.) искомое лицо. В идеале же документ из фонда в 10 тысяч единиц хранения должен отвечать («да» или «нет») на тысячу вопросов, а из фонда в миллион единиц — на 100 тысяч вопросов... Только тогда коэффициент полезного действия архива приблизится к единице.

Послушаем, каким рисует будущее архивного документа один из специалистов по поисковым системам,

Г. Воробьев: «Дальнейшее развитие этих идей приведет к полному изменению формы документов, при составлении которых автор откажется от метода литературного труда, заменив его анкетным методом, отвечая на вопросы хорошо разработанной классификации и представляя таким образом исчерпывающую и систематизированную информацию». Эта мысль вполне естественна для того, кто острее других чувствует разрыв между «старыми» методами письма — будь то научная статья, мемуары или любой другой письменный документ — и новыми требованиями к информации. Ясно, однако, что позже всего коснутся новые методы тех документов, из которых формируются личные архивы. Еще долгое, надо думать, очень долгое время и письма, и дневники, и многое другое, что получат потомки в виде архивов наших современников, будут порождаться не анкетным методом — и придется приноравливаться к традиционным формам, как бы трудно ни было подбирать к ним ключи поисковых систем. Быть может, в будущем значительная часть документов переведена будет на магнитную пленку, но дело более близкого будущего — документы эти собрать и сохранить.

Путеводителями же по огромному корпусу изданных дневников и мемуаров сегодня служат такие книги, как многотомный библиографический указатель «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях», выходящий под редакцией профессора П. Зайончковского с 1976 года, а по безбрежному морю рукописных источников этого рода — такие пока еще редкие, весьма трудоемкие издания, как «Воспоминания и дневники XVIII—XX вв.» — аннотированный указатель рукописей, хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вышедший в 1976 году под редакцией С. Житомирской; десять сотрудников отдела работали над ним более десяти лет, ценнейшая часть этого издания — его справочный аппарат: именной указатель, предметно-тематический указатель, указатель мемуаристов по роду их деятельности...

Архивист не только нумерует листы и пишет обложки, не только сберегает рукописные источники — он и побуждает людей к созданию этих документов, он терпеливо разъясняет источниковедческий и исторический смысл мемуаров и прочих письменных свидетельств. До-

кументы, им собранные, опознанные, описанные, сохраненные, теперь будут возникать на страницах разных изданий, а имена архивистов, нередко явивших их на свет божий, всегда или почти всегда останутся в тени — таков сам статус этой работы. И автор этой книги радуется возможности с благодарным чувством назвать здесь хотя бы немногие имена тех, с кем выпало автору в течение тринадцати лет ежедневно работать в стенах отдела рукописей, на чьем примере уяснялся ему и смысл и пафос архивного дела, — Людмила Владимировна Гапочко, Елена Николаевна Ошанина, Юлия Павловна Благоволина, Николай Борисович Тихомиров, замечательный знаток рукописной книги, Галина Федоровна Сафронова и Лидия Петровна Балашова — ревностные хранительницы рукописей, Наталья Виловна Зейфман, Клавдия Ивановна Бутина, Галина Ивановна Довгалло, старейшие сотрудницы отдела Лариса Максимовна Иванова, Вера Михайловна Федорова и многие другие, названные и не названные на страницах этой, принадлежащей в какой-то степени каждой из них, книги.

...Ведя дневник, человек озабочен обычно своею личной жизнью, побуждаем потребностью ежедневного самоисповедания (хотя, как мы видели, бывают дневники, одушевленные историческим чувством автора). К мемуарам он подступается, в той или иной степени движимый мыслью о своем времени, сложившемся на его глазах в некую вполне определенную эпоху, отличную от других, — а иногда и о нескольких исторических периодах, сменивших один другой на протяжении одной человеческой жизни, обладавших особенной физиономией. «Столько эпох литературных пронеслось надо мною и передо мною, пронеслось даже во мне самом, оставляя известные пласты или лучше следы на моей душе, — писал известный литературный критик Ап. Григорьев, приступая к своим воспоминаниям, — что каждая из них глядит на меня из-за дали прошедшего отдельным органическим целым, имеет для меня свой особенный цвет и свой особенный запах». Вычленить из прошедшего времени эти «эпохи», увидеть «цвет» каждой из них дано только человеку, эпохи эти пережившему и получившему возможность взглянуть на них ретроспективно — не современнику, целиком в них погруженному. Можно было бы, пожалуй, сказать, что че-

ловек тогда только и начинает сознавать характернейшие черты времени, когда на его глазах они в значительной степени заменились чертами иными.

Эта непременная смена нескольких эпох на протяжении одной человеческой жизни всегда глубоко трогала людей и тревожила их воображение. Сыновья своего времени, оставшиеся в живых и чуждые новому веку, всегда хорошо чувствуют, что время их отошло, миновало. «Мой век протек, и прошедшего не воротишь», — пишет еще нестарый и полный сил М. Орлов, прикосновенный к делу декабристов, но оставшийся на свободе, шефу жандармов Дубельту. Прошедшего не воротишь, но зато оно с ними. Никто не в силах отнять его у них. И человек берется за перо, чтобы рассказать о своем времени и помешать тому, кто вознамерился бы переписать историю заново.

— Положение человека, приступающего к мемуарам, во многом затруднительней, чем у автора дневника...

— Да, дневник требует не так уж много — решимости вести его и систематичности в исполнении решения. Автор дневника не держит в голове общего его плана; он пишет, идя вослед течению своей жизни; его точка зрения на вещи, характер выбора фактов, самый стиль записей может меняться год от году — вместе с самим человеком. Юношеские тетради отстоят от дневника пятидесятилетнего на то самое расстояние, на которое сам он ушел от себя — юноши!

Мемуарист не может позволить себе расти и меняться на глазах читателя — он должен выбрать один какой-то угол зрения, одну точку отсчета. В сравнении с автором дневника он обладает неким добавочным, в каком-то смысле обременяющим знанием — он уже знает, кто он, его жизненный круг в большей части своей пройден (ибо мемуары редко пишут в молодости), и обычно именно собственная биография, сознательно или несознательно, берется за точку отсчета, когда человек начинает, сбивчиво или гладко, рассказ о своем времени. Мы не о том хотим здесь сказать, что автор мемуаров непременно поставит в центр свою собственную жизнь — далеко не всегда это так, — а о том, что работа мемуариста во многом предопределена знанием и пониманием своей биографии. В этом смысле дневник точнее мемуаров не только потому, что пишется по свежим следам события, а и потому, что пишущий еще не

знает ни биографии своей, ни своего времени — он только всматривается в него, и потому в дневник попадают факты и подробности самого разного толка. Течение времени производит неизбежную переоценку ценностей, в иные эпохи особенно ошеломительную. Вдруг, в несколько лет, меняется круг мыслей и верований целого поколения, а иногда и не одного. Человек, пишущий мемуары, видит неожиданно, что он пишет не спокойную, последовательную историю одной какой-то жизни, связанную единством личности героя, а историю, по крайней





мере, двух-трех разных людей. Он видит, что стал непохож на самого себя, и ищет связующие звенья между теми своими ликами, которые существуют как бы порознь. Задача его сложна и даже литературно высока. Он должен непременно разыскать в самом себе ту точку своей личности, к которой все соберется, и вместе с тем сохранить это раздельное видение разновременных своих ипостасей.

«...Читатель, может быть, будет удивлен, что я так мало говорю о музыке своего произведения, — писал композитор И. Стравинский в «Хронике моей жиз-

ни». — Я сознательно от этого воздерживаюсь, чувствуя себя совершенно неспособным припомнить через двадцать лет то, что волновало меня в то время, когда я писал свою партитуру. Можно вспомнить с большей или меньшей точностью факты, события. Но как восстановить чувства, которые испытывал когда-то, и не исказить их наслоениями последующей духовной жизни? Если бы я стал пытаться передать мои прошлые чувства, все было бы настолько неточно и произвольно, как если бы это сделал другой. Это было бы чем-то вроде интервью со мной, незаконно подписанного моим именем».

Особые трудности встречают мемуаристов при попытке нарисовать портреты людей, чей жизненный путь был достаточно извилист. Здесь перед мемуаристом встает задача, напоминающая задачу историка и биографа. О трудностях ее разрешения говорит Н. Эйдельман в своей статье «Об историзме в научных биографиях», поясняя это на примере жизни М. Муравьева: «Михаил Николаевич Муравьев (1796—1866) был, как известно, видным деятелем первых декабристских тайных обществ, одним из основателей Союза благоденствия. Арестованный в январе 1826 года, Муравьев содержался в заключении почти до самого конца следствия над декабристами, и любое свидетельство о контактах с Северным или Южным обществами, несомненно, привело бы его к ссылке в Сибирь вместе с другими осужденными революционерами (среди которых был его родной брат и немало других родственников). Судьба Михаила Муравьева висела на волоске, но ему «повезло»: за одно участие в первых тайных обществах не карали, Муравьева освободили, он поступил на службу, сделал карьеру... и стал «Муравьевым-вешателем», министром, одним из столпов реакции, крепостником, гонителем Польши, лидером правительственного террора против каракозовцев и т. п.

Историк, изучающий первые декабристские общества, не может, понятно, забыть о последующем превращении М. Муравьева в «вешателя», не может взглянуть на этого деятеля только глазами людей 1820-х годов: они не знали, кем станет декабрист Михаил Муравьев, он сам того не знал, но современный историк все это уже знает. Это значение «итога» может вызвать осознанное или невольное желание спроецировать итог на «ис-

ходные данные», с предубеждением отнестись к ранней деятельности М. Муравьева, находя в ней элементы «первородного греха», которые позже выяснились еще резче... Но, с другой стороны, нельзя и совсем отмахнуться от проецирования... ведь речь идет об одном и том же человеке, и какая-то преемственность между разными периодами его биографии, несомненно, была».

Памятливость относительно собственных воззрений в разное время своей жизни — одно из редчайших свойств человека и необходимая составная часть исторического сознания. Большой грех для мемуариста — путать имена и даты, но еще больший, быть может, — внушать читателю убежденность, что он, автор, всегда смотрел на вещи одним и тем же образом. Неоценимо важно уменье мемуариста восстановить ход своих прежних рассуждений, восстановить тогдашнюю свою шкалу ценностей! Доводы позднего разума — конечно, вещь тоже достаточно ценная и уважаемая и, конечно, не идет в сравнение с бессмысленным цеплянием мемуариста за прежний свой образ мыслей (оттого только, что он — «свой», что его утверждению отданы годы молодости и зрелости). Но мемуарист не вправе весь пыл свой тратить на защиту тех ценностей, в которые он нынче уверовал. Должно помнить, что он, и никто другой, обязан описать эпоху ему известную по меньшей мере в двух аспектах — такою, какою виделась она самой себе и какою видится она теперешнему зрению. Задача, которую он должен ставить перед собой, — описать и закрепить в исторической памяти образ мыслей и чувствований человека того времени, заглянуть поглубже в механизм собственного сознания, заставлявший его радоваться одним событиям, негодовать на другие, с равнодушием проходить мимо третьих.

Заглянуть в этот механизм не дано современнику — автору дневника: он описывает свои переживания как данность. Возможность эта является только впоследствии, когда возникает точка, находящаяся вне этой данности и позволяющая увидеть ее в целостности, возникает тот язык, которым можно описать известный круг миропонимания.

Человек, взявшийся писать мемуары, самой этой задачей принужден искать слова честные и недвусмысленные для передачи своих былых, самых странных, с нынешней его точки зрения, умонастроений. И нередко он

приходит к мысли, что неясное уж лучше так и оставлять неясным, чем приводить к мнимой ясности. Доблесть мемуариста не в том, чтобы показать, как хорош и умен был он во все времена, а в том, чтобы увидеть себя во всякий момент беспощадным сегодняшним взглядом; среди прочего он должен увидеть и то, что именно в его личности оказалось той благодатной почвой, в которой легко укоренились и быстро пустили побеги предрассуждения и крайности его времени.

В дневниках время разворачивается перед нами как бы не видя себя; в мемуарах оно само глядится в собственное зеркало. Мы видим по крайней мере двойной (а на самом деле — бесконечно дробящийся, отражающийся в осколках нескольких зеркал сразу) его облик: мемуарист оценивает свое время, выносит ему приговор и несет на самом себе нестираемый его знак, им самим нередко не различимый. Он стремится «сам» рассказать «о времени и о себе», но иногда уже выбор предмета и способ рассказа говорит о нем более того, что он задумал, и иное, нежели хотел сказать. Время — в лице неизвестных нам наших же современников, пишущих сегодня дневники и мемуары, — уже ведет о нас свой рассказ в тот самый момент, когда мы пытаемся сказать о нем свое слово. Только из сплетения возможно большего количества этих до поры неслышных голосов — противоречащих друг другу или подтверждающих и уточняющих друг друга документов — рождается впоследствии тот облик данного времени, который на какой-то момент кажется наиболее близким к «оригиналу» — до тех пор, пока появление на свет новых документов не внесет в эту картину существенных поправок. Потому любые, самые добросовестные и глубокомысленные мемуары не могут претендовать на роль окончательного, не подлежащего обжалованию приговора. Все мы — свидетели, но не судьи (правда, мемуарист всегда волен выбрать себе роль свидетеля защиты или свидетеля обвинения), мы даем показания на суде истории — который отнюдь не отодвинут в отдаленное, непредставимое будущее, а идет ежедневно, не прерываясь, — и должны, во всяком случае, стремиться к тому, чтобы не стать ненароком лжесвидетелями.

Все это не должно, однако же, внушить читателю мысль, что только высокие нравственные качества мемуариста способны сообщить его трудам историческую

ценность. Здесь нет однолинейной зависимости. Напомним «Записки» Ф. Вигеля — современника А. Пушкина, одного из «архивных юношей» (то есть чиновников, служивших в московском архиве Коллегии иностранных дел), которому Чаадаев издевательски писал: «Признайтесь, что вам самому показалось бы смешно, если бы кому-нибудь вздумалось не шутя говорить вам о том уважении, которым вы пользуетесь в обществе».

В начале своих мемуаров Ф. Вигель говорит об исторических записках, которыми «в наше время наводнен Запад Европы... Сии источники, иногда весьма мутные», могут, однако же, «составить величественный, ясный поток, коим Карамзины грядущих времен будут напоять любопытную жажду к познаниям, более и более увеличивающуюся в моем отечестве». С самолюбивою ужимкой, со странной, как бы самоподдразнивающей велеречивостью объясняет автор свои цели и высказывает свои надежды. «Давно родилась во мне мысль и желание обратиться в один из сих источников, продлить к концу приближающееся, тленное и малозначительное бытие мое, превратить его в существование столь же неизвестное, невидимое, в журчание неслышимое, с надеждою случайно брызнуть когда-нибудь из мрака и земли и быть замечену каким-нибудь великим мужем, который удостоит приобщить меня к своему бессмертию или, по крайней мере, долговечию». Написано им было около семи томов, куда вошли воспоминания о Н. Карамзине и В. Жуковском, о семьях Вяземских и Тургеневых, об А. Хвостовой, А. Шаховском, о генерале Бетанкуре, о жизни А. Пушкина в Одессе и о «демоне» его, А. Раевском... Записки эти Ф. Вигель читал в домах своих знакомых с неизменным успехом; за ними охотились, их переписывали. Впоследствии историк литературы М. Лонгинов писал: «Разочарованный, ожесточенный обстоятельствами жизни, страдавший еще больше от своего неуживчивого своенравного характера, он знал невыразимое наслаждение, находил великое утешение в своих воспоминаниях и сравнивал их опубликование с публикацией записок Сен-Симона, сделавшей их автора знаменитым после смерти...» В Энциклопедическом словаре Брокгауза — Ефрона вместо перечня чинов и должностей о нем сказано так: «Вигель (Филипп Филиппович) — автор известных «Воспоминаний»...

...Да, несомненно, любопытны могут оказаться и те

мемуары, авторы которых вовсе не ставили себе задачи трезвой самооценки, да и не были к ней способны, вполне удовлетворенные и личностью своей, и биографией. Таковы, например, мемуары Николая Ивановича Греча, человека весьма пестрой биографии. Автор первого «Опыта краткой истории русской литературы» и «Начальных правил русской грамматики», выдержавших 11 изданий, редактор «Северной пчелы» и «Сына отечества», в котором печатались будущие декабристы, Н. Греч вскоре после разгрома декабрьского восстания стал литератором сугубо официальной складки. Последние годы своей долгой (он умер на 80-м году) и переменчивой жизни Н. Греч отдал главным образом мемуарному жанру. К своим «Воспоминаниям старика», посвященным эпохе Александра I, он приступил, разжигаемый негодованием на вышедшую в 1858 году книгу А. Герцена «14 декабря 1825 года». «Гнусный беглец дерзает чернить своею пакостью даже людей достойных и благородных... Долг всякого честного человека и гражданина русского вступиться за правду и смело высказать ее пред светом и потомством», — писал возмущенный мемуарист.

Стремясь как можно яснее выказать свое отношение к заговору и к главным его вдохновителям, Н. Греч дает портреты 31 декабриста, которые, несмотря на обилие нравоучительных его замечаний и упреков по адресу повешенных и умерших в ссылке, сохраняют значение исторического источника. Н. Греч, как и Ф. Булгарин, близко знал участников заговора. Они бывали в его доме, и Гречу приходилось выслушивать от своих молодых гостей щекотливые вопросы — о том, например, что бы он сделал, если б узнал о существовании заговора?.. Через много лет, рассказывая в воспоминаниях о скором своем «вытрезвлении» от либеральных идей, Н. Греч с гордостью воспроизводит свой ответ К. Рылееву («за хохол да и на съезжую») и дает затем замечательное разъяснение своих отношений с самодержавием: «Между царем и мною есть взаимное условие: он оберегает меня от внешних врагов и от внутренних разбойников, от пожара, от наводнения, велит мостить и чистить улицу, зажигать фонари, а с меня требует только: сиди тихо! вот я и сижу». Н. Греч написал еще подробные «Записки о моей жизни» (не успев, правда, их закончить) и несколько мемуарных портретов. Среди них,

быть может, любопытнее всего — воспоминания о Фаддее Булгарине, вызванные, по-видимому, желанием автора установить в глазах современников и потомков необходимую ему дистанцию между ним и многолетним его ближайшим сотрудником. Автор воспоминаний обещал: «Буду говорить и о себе сколь можно равнодушнее и правдивее». Но такой взгляд на себя ему удавался плохо; собственная жизнь невольно принята была за некий образец, за норму, когда с неподражаемой важной снисходительностью перечисляет он и пересказывает разнообразные бесчестные поступки своего соиздателя, временами принимает с некоторым самоотвержением его сторону, делает глубокомысленные экскурсы в историю развития дурных свойств его личности и роняет среди прочего характернейшее замечание: «Признаюсь, если бы я знал, каков Булгарин действительно, то есть каким он сделался в старости, я ни за что не вошел бы с ним в союз». Н. Гречу удалось нарисовать довольно яркий портрет Ф. Булгарина, но вместе с тем и свой собственный: чем более места отдано в воспоминаниях такого рода оправданиям, мнимо искренним признаниям и разнообразным наветам на врагов и полудрузей, тем рельефнее выступает личность того, кто с таким рвением стремится поведать, как «на самом деле» дело было. Не достигая чаще всего желаемого им эффекта, автор этих мемуаров постоянно как бы достигает побочного: он выбалтывает нам о времени и о себе то, что рассказывать вовсе не думал, чего, может быть, сам в себе как следует не знал или в целях самосохранения приучился не видеть. Это дало его воспоминаниям своеобразную перспективу и объемность, едва ли не художественную, и потому, читая их, невольно сожалеешь, что слишком мало деятелей такой складки оставляют свои мемуарные автопортреты и нередко теряют, таким образом, предоставляемую им великодушной историей возможность заслужить у потомков слово благодарности...

— Что бы ни говорили о разных типах мемуаристов, встречаются, наверное, натуры, будто самой природой, воспитанием и условиями жизни подготовленные для выполнения этой миссии.

— Расскажем об одном из таких людей. В тридцатые-сороковые годы минувшего века всем в Петербурге было известно имя Павла Васильевича Аннен-

кова. Никакой определенной деятельностью не знаменитый, человек этот принадлежал к кругу друзей Н. Гоголя, В. Белинского, позже — И. Тургенева, А. Писемского...

Все они ценили его литературный вкус, нередко делали его первым читателем и судьей своих произведений и считались с его советами. Примечательно, что при всем этом сам П. Анненков, будучи глубоко образованным человеком, не испытывал серьезной потребности ни в одном роде литературной деятельности. Он писал блестящие критические статьи, но довольно редко и всякий раз лишь склоняясь к просьбам редакторов журналов. Эту свою особенность он и сам отлично сознавал и с веселой прямотой писал одному из друзей, редакто-





ру журнала «Атеней» Е. Коршу: «задайте сами работу. Я на выбор глуп. Нет у меня ни особенно волнующих дум, ни холерических, требующих настоятельно извержения мыслей. Таких людей следует водить на уздечке, и они иногда очень манежно могут пройти небольшое расстояние за своим берейтором. На это я именно и спо-

собен». Он пробовал писать повести — они не имели чувствительного успеха.

Один из братьев П. Анненкова был нижегородский губернатор, другой — генерал-адъютант, петербургский обер-полицмейстер. Сам же он предпочитал карьере вольный, никакими обязанностями не связанный образ жизни. Его богатые именья позволяли ему много путешествовать, но и в путешествиях этих он никогда не следовал каким-либо специальным целям: «Терпеть я не могу вдобавок ни тех людей, ни тех земель, ни тех наук, ни тех мыслей, которых надобно знать, — писал он В. Белинскому. — Ничто такого отвращения не возбуждает во мне (...), как голая необходимость».

Сами маршруты его не подчинялись определенному плану, а менялись неожиданно и прихотливо, потешая друзей. «Приехал я в Берлин, посмотрел из гостиницы на чахоточную растительность его «Unter-den-Linden», съездил в голый, еще не распустившийся «Thiergarten» — и мною овладела жажда тепла, света, простора: вместо Лондона и свидания с приятелями, я направился в северную Италию, где у меня никого не было. Этот внезапный поворот вызвал гомерический хохот у Тургенева. Я получил от него уже в Женеве письмо из Парижа, от 23 мая 1860. «Первое чувство, — пишет он, — по получении вашего письма, милейший А., было удовольствие, но второе чувство разразилось хохотом... Как? Этот человек, который мечтал только о том, как дорваться до Англии, до Лондона, до тамошних приятелей, примчавшись в Берлин, скачет сломя голову в Женеву и в северную Италию. Узнаю, узнаю ваш обычный Kunstriff».

Это отсутствие «жесткости конструкций», удивительная податливость к быстрым изменениям ближайших жизненных планов немало способствовали приуготовлению личности П. Анненкова к той роли, которая, как выяснилось впоследствии, назначена была ему в истории. Исследователь литературно-критической деятельности П. Анненкова Б. Егоров пишет, что «ему явно не хватало жизненной воли, активности, целеустремленности, может быть, этим объясняются частые ситуации, когда он оказывался «ведомым» («нумером вторым», по терминологии Тургенева). Например, как можно судить по письму к Тургеневу от 7 января 1861 года, будущая жена критика Глафира Александровна сама убедила

П. Анненкова в необходимости жениться и как бы предложила ему руку. Правда, справедливости ради нужно сказать, что вести себя он позволял достойным людям. Так, в Риме в 1841 году он безропотно, в течение нескольких недель, отказываясь от туристских интересов, переписывал под диктовку Гоголя «Мертвые души». Летом 1847 года он отверг заманчивую поездку на Балканы, чтобы сопровождать больного Белинского по германским курортам...»

По описанию, оставленному самим П. Анненковым, и по его письмам этого времени можно судить, что с той же самой нерассуждающей легкостью следования душевному своему движению, с какой однажды повернул из Берлина на юг, гонимый жаждою «тепла, света, простора», кинулся он теперь из Парижа навстречу больному другу не затем, чтоб повидаться, а чтобы остаться при нем на все время лечения.

В октябре 1848 года, вернувшись в Россию, П. Анненков попадает в атмосферу «терроризации», вызванной страхом российского правительства перед революцией, охватившей Европу. Через много лет, составляя конспект своих воспоминаний об этом времени, П. Анненков записывал: «Салтыков уже сидит в крепости за свои повести, пересмотр журналистики и писателей... Ф. Достоевский попал на пять лет в арестантские работы за распространение письма Белинского к Гоголю, писанного при мне в Зальцбрунне в 1847 году. Как нравственный участник, не донесший правительству о нем, я мог бы тоже попасть в арестантские роты». Эти два года П. Анненков мало бывает в Петербурге — он занят делами своего расстроенного именья. Как всегда, он занимается понемногу, без особого запала, и литературной работой — печатает в «Современнике» «Письма из провинции». Как и прежде, эти живые, не лишенные наблюдательности очерки не вызывают особенного интереса читающей публики.

В это время, зимой 1849/50 года, Н. Ланская задумывает переиздать сочинения А. Пушкина и просит помочь ей в этом И. В. Анненкова — брата Павла Васильевича, — служившего под началом ее мужа и близкого к их семейству. Иван Васильевич вместе со старшим братом Федором Васильевичем стали убеждать П. Анненкова принять участие в работе по редакции издания, доказывая, что работа эта ему вполне посиль-

на, а кроме того, позволит братьям не платить денег чужому человеку.

Полковник лейб-гвардии Конного полка расчислил, что на эту работу уйдет у брата месяц времени («Все сие сообразивши, я полагаю, почему тебе не приехать сюда на один месяц и все что нужно написать и устроить...»), и недоумевал на его нерешительность. Между тем П. Анненков смотрел на все это совершенно иначе; его, по собственным его позднейшим признаниям, схватывали «страх и сомнение в удаче предприятия»; судя по ответным письмам брата, Павел Васильевич уверял его, что он осрамит свое имя, взявшись за непосильное дело, и, видимо, обвинял даже в неуважении к Пушкину.

Дело кончилось тем, что, к счастью для будущей истории литературы, П. Анненков взялся за работу над изданием — со страхом и неуверенностью в своих силах, восполняемой глубокой убежденностью в литературной и историко-культурной необходимости этого труда.

С этих пор жизнь его резко переменилась. Он обрел, наконец, занятие, в которое погрузился целиком, которому предался со страстью и неизвестной в нем прежде устремленностью к единой цели. Он задумал сопроводить сочинения не биографическими «выносками» к каждому то́му, как предполагалось вначале, а первым опытом полной биографии поэта. Для этого он первым делом принялся за перечитывание журналов 1817—1825 годов, которые разыскивал по частным библиотекам (в частности, в библиотеке В. Белинского, купленной И. Тургеневым у вдовы критика и целиком предоставленной им П. Анненкову для его работы), так как в Публичной библиотеке полных их комплектов не было.

Как впоследствии напишет академик Л. Майков, — «биограф придавал особое значение старинной журнальной полемике и справедливо искал в ней указаний на то, как постепенно слагалось в русском обществе воззрение на поэтическую деятельность Пушкина». Сейчас этот подход кажется естественным и необходимым для историка литературы; в середине прошлого века он был далеко не так привычен и говорил о высоком уровне историко-литературного сознания начинающего биографа. «Рядом со старыми журналами, — пишет Л. Майков, — другим важным источником служило для Аннен-

кова живое предание». С этим источником дело обстояло сложнее всего.

П. Анненков занимался жизнеописанием Пушкина в то время, когда основания такого рода работы еще никому не были ясны, когда память о Пушкине казалась многим его друзьям частным их достоянием и вызывала настороженность к тому, кто претендовал на нее как на общенациональный фонд. Сама задача как можно более полного собирания всего когда-либо написанного или высказанного поэтом еще подвергалась сомнению и вызывала у некоторых современников опаску и нарекания. Так, один из ближайших друзей Пушкина С. Соболевский писал Н. Погодину: «Анненкова я тоже знаю, но с сим последним мне следует быть осторожнее и скромнее, ибо ведаю, коль неприятно было бы Пушкину, если бы кто сообщил современникам то, что говорилось или не обдумавшись, или для острого словца, или в минуту негодования в кругу хороших приятелей».

П. Анненков был первым в России, кто решился строить «биографию исторического человека» с таким широким захватом, вводя в нее материал и мемуарный, и исторический, и даже текстологические разыскания. Почти не имея перед собой образцов, сообразуясь главным образом с собственным нравственным и историческим чувством (а и тем и другим он был наделен в высокой мере), П. Анненков вырабатывал принципы научной биографии писателя, тогда еще не осознанные даже как проблема. И эта работа естественным образом вела его к мыслям о биографии эпохи, об обязанностях очевидца по отношению к будущим поколениям. Уже в 1856 году, собирая материалы для биографии Станкевича, он просил Боткина прислать его воспоминания об «историческом семействе» Бакуниных и, не сдержавшись, восклицал: «Боже мой! Какой клад объективная летопись, написанная, однако ж, очевидцем — и тогда, как уже личность совершенно высвободилась из событий, отношений и привязанностей. Вы, может быть, не поверите, что одна мысль о такой летописи дает мне какой-то род преждевременного наслаждения».

Труд, неожиданным и счастливым образом подчинивший себе человека, до той поры далекого от всяких деятельных систематических занятий, был завершен летом 1853 года. Однако жизнь П. Анненкова уже вошла

в новое русло, и он не спешил выходить из него. Начинался тот период его жизни, который и должен был дать ему имя летописца эпохи. Много позже он напишет о А. Герцене, что для него «наступила та пора жизни, когда человек испытывает обыкновенно мучительную потребность самой напряженной деятельности (ему шел 35-й год)» — быть может, в словах этих заключена была память о том времени, когда его самого толкнуло вдруг к непривычно напряженной и глубоко его захватившей работе. Собирая документы Пушкина, он пользовался чужим материалом, беспрестанно понуждая друзей и знакомых поэта зафиксировать письменно свои о нем воспоминания, не дать им ускользнуть из стареющей памяти, а со смертью очевидца — уйти навсегда. Эта мемуарная лихорадка уже не оставляла П. Анненкова. Он заторопился написать о людях, которых знал лично, чью жизнь следил с дружеским вниманием, с живым участием.

В 1856—1857 годах он пишет большую статью «Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 г.», представляющую собой, в сущности, воспоминания о всем времени своего знакомства с Гоголем.

Воспоминания о Гоголе недаром избраны были им для наиболее полного высказывания взгляда своего на роль биографа и мемуариста. Плодотворность этого взгляда в применении к личности Гоголя была особенно несомненна, другим путем эту личность, казалось, невозможно было ни постичь, хотя бы отчасти, ни оценить.

П. Анненков убеждал биографа «смотреть прямо в лицо герою своему и иметь доверенность к его благодатной природе. Позволено трепетать за каждый шаг младенца, но шаги общественного деятеля, отыскивающего простора и достойной сцены своим способностям, как это было с Гоголем между 1830 и 1836 годами, не могут быть измеряемы соображениями педагогического рода...».

«Никогда, может быть, не употребил он в дело такого количества житейской опытности, сердцеведения, заискивающей ласки и притворного гнева, как в 1842 г., когда приступил к печатанию «Мертвых душ», — с хладнокровием свидетельствовал Анненков и, нимало не думая приносить покаяние за своего героя, наперед оледенил пыл возможных порицателей его поведения

следующей замечательной сентенцией: «Тот, кто не имеет «Мертвых душ» для напечатания, может, разумеется, вести себя непогрешительнее Гоголя и быть гораздо проще в своих поступках и в выражении своих чувств».

В 1870-е годы П. Анненков написал одну из лучших своих мемуарных работ — «Замечательное десятилетие (1838—1848)», без знакомства с которой, можно сказать без всякого преувеличения, эпоха эта не может быть понята.

Но главное место отдано в этих воспоминаниях личности В. Белинского и описанию того умственного пути, который прошел он в течение десяти этих лет на глазах его друга, столь далекого от него и по мыслям и по темпераменту. Если духовную эволюцию критика можно следить и по другим источникам, и прежде всего — по собственным его работам, то живой его человеческий облик вряд ли можно вообразить себе, минуя страницы П. Анненкова, описывающие отношение В. Белинского к своей семье, его неожиданное отвращение к полотнам Рубенса в Дрездене, его «удивленно-грустное» впечатление от Парижа, где все время он испытывал утомление «от зрелища мятущихся людей», целей и намерений которых угадать нельзя, и «не раз спрашивал у друзей: в самом ли деле необходимы для цивилизации такие громадные, умопомрачающие центры населения, как Париж, Лондон и др.» ...и, наконец, историю о том, как В. Белинский забыл свой халат, уезжая из Парижа... «За какие-нибудь четверть часа до отхода самого поезда, — рассказывает П. Анненков, — мне вздумалось спросить Белинского: «Захватили ли вы халат?» Бедный путешественник вздрогнул и глухим голосом произнес: «Забыл, он остался в вашей комнате, на диване». — «Ну, — отвечал я, — беда небольшая, я вам перешлю его в Берлин». Но упустить халат из рук показалось Белинскому невыразимым горем. Надо было видеть ту печальную мину и слышать тот умоляющий голос, с которым он сказал мне: «Нельзя ли теперь?» Отказать ему не было возможности без уничтожения в его уме всех приятных впечатлений вояжа...» Черты житейской беспомощности В. Белинского, его приверженности к небольшим, но привычным удобствам (свойство, несомненно, обостренное в тот год общим упадком сил) и некоторой детскости производят особенно яркое и объемное впечатление, соединяясь с тем, что известно

каждому со школьных лет о непреклонной и воинственной натуре критика и что с резкостью прочерчено в этих же воспоминаниях.

Есть особенный, специальный долг едва ли не у каждого человека, только не каждым осознаваемый. Долг этот можно определить словами: «Это видел только я». Это сознание уникальности своего опыта, которое должно бы в непременном порядке призывать любого человека к выполнению сложных обязанностей мемуариста. В воспоминаниях П. Анненкова многие страницы продиктованы этим сознанием повышенной исторической ответственности. Среди них описание работы В. Белинского в Зальцбрунне над письмом к Н. Гоголю, имевшей, как известно, единственного свидетеля.

«...Три дня сряду Белинский уже не поднимался, возвращаясь с вод домой, в мезонин моей комнаты, а проходил прямо в свой импровизированный кабинет. Все это время он был молчалив и сосредоточен. Каждое утро после обязательной чашки кофе, ждавшей его в кабинете, он надевал летний сюртук, садился на диванчик и наклонялся к столу. Занятия длились до часового нашего обеда, после которого он не работал...»

Плавное течение рассказа, состоящего главным образом из вещественных, картинных подробностей, будто колеблемо время от времени подземными толчками — предвестиями того исключительного по силе резонанса, который получит скоро этот частный эпистолярный акт. Прямые следствия его не замедлят сказаться на судьбе тех, кто его читал и распространял; но волны пойдут дальше, и письмо возымеет глубокие последствия во всей истории нашей литературы и общественной мысли. Пока же П. Анненков добросовестно фиксирует обстоятельства его создания.

Читая первые мемуарно-биографические работы П. Анненкова, Н. Чернышевский писал, что тот «более, нежели кто-нибудь, имеет средств для обогащения нашей литературы такими трудами, как его «Материалы для биографии Пушкина», «Воспоминания о Гоголе» и биография Станкевича» (и в это же время ему вторил И. Тургенев в письме к П. Анненкову: «Все то, что Вы делаете, лучше вас никто сделать у нас не в состоянии»). И желал ему, чтобы тот «неутомимо посвящал свои силы этой прекрасной деятельности, которая доставила ему уже столько прав на благодарность русской

публики. После славы быть Пушкиным или Гоголем — прочнейшая известность — быть историком таких людей».

Трудно предположить, чтобы эта «прочнейшая известность» пришла к П. Анненкову «вопреки» главнейшим свойствам его личности, «несмотря на» них. То, что стало делом жизни этого человека, осуществлялось, несомненно, «благодаря» его собственной натуре; к нему самому необходимо применить собственные его взгляды на биографию, не позволяющие видеть несообразности и противоречия там, где есть только разные стороны одного характера, которые могут быть оценены только вкупе — и вне готовых мерок. Тогда те стороны характера, которые являются несомненным препятствием для одного рода деятельности, так же несомненно способствуют другому роду — если только человеку посчастливится набрести до конца дней своих на этот именно, для него «оптимальный» род. «Среди профессионалов идеологии, какими были «люди 40-х годов», — писал Б. Эйхенбаум, — Анненков производил впечатление человека без убеждений — скорее любителя жизни, чем деятеля. У него ко всему было какое-то «историческое» отношение: оно влекло его именно к тем людям, которые действовали и кипели в борьбе, и оно же делало его бесстрастным «туристом», как презрительно окрестили его позже в журнале «Дело». Его жизнь прошла в том, что он сначала был спутником Белинского и Гоголя, потом и литературным другом Тургенева.

Тургенев очень метко назвал его как-то раз «мастером резюмировать данный момент эпохи». Эта черта ума и темперамента многих раздражала — как безразличие, как беспринципность; но другие, точно по контрасту, любили П. Анненкова именно за это — как за особую цельность натуры, здоровье духа, не терпящего никакой односторонности, никакого фанатизма». Это отсутствие «фанатизма», приверженности каким бы то ни было постоянно и страстно исповедуемым воззрениям, вероятно, облегчило П. Анненкову его беззаветное погружение в жизнь и внутренний мир другого человека, его стремление понять собственные законы этого мира, а не навязать ему свои, по которым, по его разумению, этот мир должен был управляться; именно эта особенность темперамента и мироощущения П. Анненкова дала очертания созданной им своего рода теории био-

графии, мимо которой и доныне не может пройти ни один жизнеописатель замечательного человека. Читатель его воспоминаний постоянно видит, как их автор, не имея интереса вглядываться слишком пристально в собственные отношения с миром и довольствуясь разве что описанием беглых своих впечатлений — от природы ли, произведений искусства или характеров случайных попутчиков, — с неутомимой проникновенностью и страстью стремится понять тот взгляд на жизнь, который с «неистовостью» исповедовали великие его друзья. Вокруг него были люди, глубоко и безраздельно уверенные в правоте своих воззрений и с наибольшим жаром предававшиеся мыслям о будущем, о том, каким будет следующий исторический момент и что должны они сделать, чтобы его приблизить. Самому же ему, как пишет Б. Егоров, «вообще были чужды как уверенность, так и тяга к будущему; он не стремился никогда торопить историю». Замечание это очень важно. Оно объясняет нам многое в личности П. Анненкова и в готовности его к миссии мемуариста.

Насколько известно, дневников П. Анненков не вел. Тем более удивительно обилие мелких вещественных подробностей в его воспоминаниях — жест, которым Н. Гоголь сжимает тетрадку с главами «Мертвых душ» «в кольцо»; слова В. Белинского; голоса умерших друзей, самому тембру которых находится столько определений... Поражаясь памятливости П. Анненкова, нельзя не восхищаться угадываемым ее источникам — какой же силой сочувствования к собеседнику надо было обладать, как полно, безраздельно предаваться минуте разговора, чтобы минута эта впечаталась в память во всем обилии звуков своих и красок... Этот «любитель жизни» потому, быть может, и смог через несколько десятилетий вспоминать с такой яркостью миновавшую жизнь, что он отдавался ей с самозабвением, погружался весь в текущий момент, думая о нем, его именно «резюмируя». Этот момент он не трактовал пренебрежительно ни как некий исторический антракт, ни как прелюдию, как предуготовление только к будущим лучшим дням, а видел в нем самостоятельную и полноправную часть и бесконечной жизни исторической, и единственной, и конечной собственной своей жизни.

Ни в один из пережитых им исторических моментов не бывши на первом плане, не определяя собой лицо

эпохи и нередко не разделяя господствующих ее воззрений, П. Анненков стал, однако же, лучшим и вернейшим ее летописцем. Преследуя все время, казалось бы, только интересы жизни, настоящего, он оказался в конце концов человеком, совершенно необходимым истории и будущему.

Любопытно, что первые мемуарно-биографические работы П. Анненкова создавались им на закате самого мрачного периода минувшего века — семилетия (1848—1855), окончившегося смертью Николая I, которой, разумеется, не мог предвидеть летописец, отважно берясь за свои труды. Это обстоятельство дало ему возможность впоследствии, рассказывая историю своей тяжбы с цензурой по поводу издания сочинений А. Пушкина, с гордостью писать: «Вообще следует сказать, что сильно ошибаются те из наших современников, которые представляют себе положение русской литературы в описываемый промежуток времени исключительно и безусловно страдательным и отличавшимся будто бы одною примерною инерцией и выносливостью. Писатели, издатели, труженики всех родов, напротив, много и деятельно работали тогда и притом двойным трудом — по своим специальным задачам, во-первых, и, во-вторых, по борьбе с обстоятельствами, которые застили им свет и заслоняли дорогу, что становилось как бы необходимым дополнением избранной профессии... Если нравственные и умственные силы общества оказались налицо и даже в значительном обилии тотчас же, как сняты были первые путы, мешавшие их движению, то этот несомненный факт нашей жизни, удививший многих, а некоторых и неприятно, подготовлен был всецело предшествовавшим периодом литературы. Главнейшие ее деятели ни на минуту не сомневались за всю эту эпоху в неизбежном появлении дня свободного труда, которого и дождались». Сам Анненков оказался подготовлен к этому периоду относительного облегчения условий печати всем предшествующим образом своей жизни.

Он дожил до 1887 года и пережил почти всех своих друзей. Но портреты их смотрели на него со стен его дома, надо думать, без укоризны: будучи верным друзьям при жизни, он выполнил перед ними свой долг и после их смерти, оставив потомкам живые и глубокие очерки их личности.

— Но представим себе человека, еще не разрешившего своих сомнений относительно ценности собственного скромного, ничем не выдвинувшего его из бесчисленных шеренг рядовых современников, жизненного опыта. «Я не был знаком с великими писателями, и сам я не писатель, не ученый, не государственный деятель, — говорит он. — Я не держался за руль истории при крутых ее поворотах — хотя моя судьба запечатлела эти повороты, и жизнь моей страны была и моею жизнью. Откуда взять мне уверенность в своем праве рассказывать потомкам о своем времени?»

— И именно эти сомнения нам более всего хотелось бы разрешить.

Законное право любого из свидетелей определенной эпохи на составление своих записок о ней обосновывал еще Ф. Вигель, уже нами упоминавшийся, — не без позы смирения и самоуничижения, но с несомненным остроумием и точностью выраженья: «По большей части исторические записки составляются государственными людьми, полководцами, любимцами царей, одним словом, действующими лицами, которые, описывая происшествия, на кои они имели влияние и в коих сами участвовали, открывают потомству важные тайны, едва угадываемые современниками: их записки — главнейшие источники для истории. Но если сим актерам ведомо все закулисное, то между зрителями разве не может быть таких, коих замечания пригодились бы также потомству? Им одним могут быть известны толки и суждения партнера; прислушиваясь к ним внимательным ухом, они в то же время могут зорким оком проникать в самую глубину сцены, и если они хоть сколько-нибудь одарены умом наблюдательным и счастливою памятью, то сколько любопытного и неизвестного могут сообщить они своим потомкам!» Напомним здесь и хорошо известные слова А. Герцена из предисловия к 4-й части «Былого и дум»: «...Для того, чтобы писать свои воспоминания, не надо быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком, — для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказывать...»

Есть особенно действенные стимулы, подвигающие людей к писанию мемуаров. Так, когда до сознания человека доходит мысль об уникальности своей памяти, о

том, что события, в ней зафиксированные, в один печальный час уйдут навсегда в небытие, — она заставляет его порой совершать поступки, самоотверженные без преувеличения, еще раз убеждая, что чувство нравственной ответственности перед историей — один из самых высоких стимулов человеческого действия.

Один из первых русских военных летчиков, первый георгиевский кавалер русской авиации В. Ткачев в 1958 году, после многих лет тяжелых испытаний, начал писать свои «Воспоминания о прошлом русской воен-





ной авиации. 1910—1917». В них рассказано о формировании русской авиации, о роли знаменитого XI корпусного авиационного отряда, где вместе с П. Нестеровым служил В. Ткачев, об участии русских летных частей в первой мировой войне — до сих пор еще малоизвестной странице военной истории. Воспоминания составили большой том — 623 машинописные страницы. Дописав их, В. Ткачев умер, перед смертью поручив своему другу и сподвижнику по военной авиации Виктору Георгиевичу Соколову сохранить рукопись. Этот человек, умерший несколько лет назад в Ташкенте, завещал

рукопись своему знакомому, который принес ее в отдел рукописей ГБЛ и передал на государственное хранение.

Дочь известного фельетониста 1900—1910-х годов В. Дорошевича начала писать воспоминания о своем отце в 1955 году, уже смертельно больная. Вернее, она не писала их, потому что уже не могла этого делать, а диктовала. Об этом рассказывает писатель В. Лидин в послесловии к воспоминаниям. «Она диктовала по очереди двум стенографисткам. Диктовала, умирая, воодушевленная этой работой, и больше всего боялась, что не успеет договорить. Эта женщина, сила духа которой достойна самого глубокого уважения, отказалась от морфия, чтобы наркотики не затемнили ясности ее сознания. Она преодолевала мучительные физические страдания ради своей последней записи. Стенографистки, потрясенные волей этой женщины, в один голос говорили о силе ее духа и необычайной ясности ума. Диктовать Наталья Власовна прекратила только за две недели до смерти...»

Это не только воспоминания об отце, о его семейной жизни и творческой судьбе, но и о своем собственном детстве и юности и вообще о времени, богатом событиями, — первых двух десятилетиях XX века. Литературные достоинства этой до сих пор не опубликованной книги воспоминаний (напечатаны только небольшие извлечения), названной автором «Жизнь Власа Дорошевича», несомненны. В ней есть и непринужденность стиля, и редкое умение немногими словами передать характерные приметы времени.

Воспоминания Н. Дорошевич об отце являются вместе с тем и наиболее полной, по-видимому, его биографией. Они начаты с таинственной истории оставленного в пустой квартире ребенка, которого забирает при обыске этой квартиры и затем усыновляет один из понятых — соседний домовладелец, коллежский секретарь Михаил Иванович Дорошевич. Мальчика назвали Влас, в честь Блеза Паскаля. Подробно и ярко рассказано о начале журнальной работы Дорошевича и о времени ее расцвета в Одессе, где сначала поступил он актером в театр... В воспоминаниях этих не только материал, необходимый историку литературы, но и драгоценные страницы летописи времени, создающейся усилиями самых разных и чаще всего ничего не знающих друг о друге людей.

В разные минуты жизни, в разных обстоятельствах настигает людей разного возраста, происхождения и миропонимания мысль о писании мемуаров.

...12 августа 1922 года приступает к запискам о своей семье внучка В. Даля — Ольга Платоновна Демидова.

В ее воспоминаниях, хранящихся ныне в отделе рукописей ГБЛ, много подробностей, оказавшихся необходимыми биографам В. Даля, но ценность этих мемуаров совсем не только в этой наиболее очевидной их функции, а и в тех многочисленных чертах судеб и личностей совершенно неизвестных нам, ничем не знаменитых людей, которые в совокупности своей и составляют неповторимый (и невосполнимый вне документа!) облик ушедшего времени. Мы замечаем вдруг, что с вниманием и интересом вчитываемся в историю неудачной семейной жизни некоего инженера-путейца, принимавшего участие в строительстве Николаевской железной дороги и выдерживавшего при этом немало столкновений с товарищами и начальством из-за его упорного отказа пользоваться «побочными доходами»...

Спокойно, неторопливо повествует О. Демидова о том, как «Надежда Михайловна, страстно любя мужа, умела в то же время довести его до бешенства своим несносным характером и вздорными требованиями — сколько ни запрещал Николай Антонович жене производить без себя уборку кабинета, это было выше ее сил. Как только он за дверь, она уже тут с тряпкой и шайкой воды, а он потом не находит нужных чертежей и бумаг или находит их с брызгами мыла». Будто о людях знакомых нам рассказывает она, как «все чаще и чаще после шумных семейных историй Николай Антонович приказывал закладывать лошадь и везти Над. Мих. к родителям. Та покорно одевалась, брала очередного младенца и уезжала в ссылку. И должно быть, в самом деле плох был характер дочери, потому что старики Давыдовы не только не винили зятя, но любили его как сына и были счастливы, когда он приезжал в гости. Бывало, покажутся в воротах санки Николая Антоновича, мать кричит дочери: «Уходи, Надежда, Николай Антонович едет!» И Надежда сидит на сундуке в коридоре, жадно слушает голос мужа, но не смеет показаться ему на глаза, пока он сам не смилуется над нею».

Плавно течет рассказ, на страницы воспоминаний являются все новые и новые лица, заурядные люди своего времени. И вдруг деталь, нимало не значащая для автора воспоминаний, для читателя нашего времени оказывается едва ли не экзотической: «Ко времени знакомства А. Н. с моими родителями ей было лет 26—27; она была уже матерью шестерых детей, и матерью образцовой». Яркие портреты со множеством подробностей и моментальные снимки, с которых неожиданно живо взглядывает на нас человек, в складе характера и образе мыслей которого несмываемо запечатлелось время, место, вековая традиция убеждений, привычек, верований. «Мама рассказывала, что Мария Евграфовна очень ревновала Бубнова к памяти его покойной жены. Особенно горько ей было то, что муж купил себе место для могилы рядом с тетей Евой. — Здесь, на земле, пока я жив, я твой, — говорил ей Николай Дементьевич, — но там я хочу быть рядом с нею. Долго крепилась Мария Евграфовна и кончила тем, что купила и себе могилу у него в ногах...» И дальше, дальше со спокойной непринужденностью человека, уверенного в праве своем на собственное слово о своем времени, ведет автор свой рассказ и приводит нас к адмиралу Ивану Семеновичу Унковскому, капитану фрегата «Паллада», на котором плыл вокруг света И. Гончаров, а в годы знакомства с ним автора воспоминаний — ярославскому губернатору, отцу большого семейства, человеку, известному твердостью нравственных своих правил. «...Мама в разговоре с Иваном Семеновичем выставила Бубнова как образец безупречного человека..

— Ну нет, Ольга Владимировна, я, знаете, не согласен, — сказал он, — я ничего не говорю, он очень хороший человек, но знаете, все-таки двоеженец...

— Иван Семенович, какой же он двоеженец? Ведь жена его умерла...

— Ну что ж, что умерла? А все-таки, знаете, взял вторую...

Вот какое сердце и какие идеалы были у этого мужа совета и опыта», — заключает мемуаристка.

Ненужные, излишние подробности? Нет — нужные и важные — не только и не столько, может быть, в источниковедческом смысле, сколько как «нижний этаж» художественной литературы, ничем не заменяемый материал для будущих исторических романов, изображаю-

щих быт и нравы людей минувших эпох. Чем естественней для современника какая-то подробность, тем нередко она характернее для его времени, тем невосполнимее впоследствии.

В том и состоит одна из поразительных для сегодняшнего взгляда и привлекательных особенностей мемуаров, повествующих о прошедшем столетии и начале нынешнего: мемуарист, кажется, совсем не озабочен выбором людей и событий — одна лишь яркость лица или факта служит ему нередко достаточным основанием для его запечатления. Он не боится брать на себя суд и решать, что интересно для потомков, и суд этот дается ему легко. У него нет пренебрежения к частностям, мучительной рефлексии над тем, достаточно ли общезначимо случившееся с ним и его близкими, нет того недоверия к ценности так называемой личной жизни отдельного человека, которая сейчас останавливает нередко уже занесенную над листом бумаги руку человека, имеющего и время и уменье описать оставшуюся за плечами долгую жизнь — свою и своих знакомых. У тех, кто оставил нам свои мемуары, была неколебимая (хотя чаще всего совсем неосознанная) уверенность в том, что каждый из их родных и знакомых — лицо историческое, что каждый достоин быть занесенным в книгу бытия. Читая эти воспоминания, поражаешься, и, не испугаемся этого слова, умиляешься тому, сколько уважения и любви друг к другу разлито на этих страницах, сколько признано заслуг — перед обществом ли, перед отдельными ли людьми, сколько оценено по справедливости семейных и прочих добродетелей... Тепло родственности и дружественности прямотаки струится со страниц мемуаров людей самых обыкновенных, повествующих о событиях глубоко частной жизни — и в этом, на наш взгляд, не источник возможного недоверия к объективности мемуариста (потому что все мемуары были, есть и будут субъективны), а уважения нашего к его умению и решимости дать волю своему собственному отношению к пережитому, не подгоняя это отношение под мерки, посторонние личному жизненному опыту.

— Вопрос «Да кому и что здесь может быть интересно?» — наверно, самый опасный из вопросов, который может поставить себе человек, приступающий к воспоминаниям.

— Можно даже сказать, что вопрос этот, если он достаточно глубоко засел в сознании человека, уже во многом обрекает его дело на неудачу. В том-то и дело, что интересно всё — и всем, кто обратится в будущие времена к нашему времени. Все, что вы знаете, что видели, что пережили, чему были свидетелями и очевидцами...

Недавно сотрудник ЦГАЛИ Ю. Красовский напомнил о том, как В. Бонч-Бруевич, широко и энергично организуя работу по собиранию материалов советского времени, предупреждал архивистов: «Не будьте пророками. Кто знает, что выявится через сто лет».

Нужны воспоминания самые разные, о разных годах жизни страны в разных городах, селах и населенных пунктах, о самых разных слоях общества — без всяких исключений, вне иерархии и соображений о нужности и актуальности. Будущий историк нуждается в мате-





риале обо всех проселках и тропах, а не только о хорошо видных каждому с любой точки магистралях. Приведем один из наиболее разительных примеров, который вызовет, быть может, недоумение молодого чи-

тателя: воспоминания человека, вышедшего из духовной среды и, по его собственному признанию, «имевшего возможность наблюдать жизнь московского духовенства, как приходского, так и соборного... что и дает мне право выступить в своем роде историком жизни этого сословия в последнее пятидесятилетие перед революцией. Мои воспоминания о многих лицах московского духовенства, несомненно, во многом расходятся с изображениями характеров и деятельности этих лиц, имеющихся в официальных и неофициальных изданиях (некрологи, описания юбилеев и пр.), но это не должно никого удивлять, так как все означенные сообщения, конечно, изображали московских батюшек в сильно прикрашенном виде, а мне нет никакого повода и основания изображать жизнь духовенства не такою, каковой она была в действительности». Воспоминания эти писались в 1936 году человеком, взявшим на себя роль историка своего сословия уже в глубокой старости, в возрасте 79 лет; написанные без особенного литературного уменья, они обстоятельно и, по видимости, добросовестно запечатлели то, что он видел и как понимал увиденное, и в свой час пригодятся наравне с прочими исследователю или литератору.

Представление о том, что все давно уже известно и задокументировано, — удел невежества и прочно связанного с ним равнодушия. Вспомним — Отечественную войну 1812 года полнее всего описал человек, родившийся через 16 лет после нее. Воспоминания очевидцев были для него бесценны. И его романом потребность общества в знании этой войны, разумеется, не насытилась до предела, и в 1869 году один из литераторов горько сетовал в письме к другому: «Самые подробности о великой борьбе 12-го года исчезают на всех концах России, вместе со стариками и старухами, которые и не подозревают, какие сокровища уносят с собою в могилу. В виду подобного невежества нельзя не дорожить всяким биографическим обрывком, всяким плохим подобием записок и воспоминаний». Нельзя не верить, что и к войне 1941—1945 годов, к страшному и великому ее опыту обратятся еще люди, родившиеся через много лет после нее — сегодняшние дети, между которыми, несомненно, ходят будущие гениальные писатели. Как бы много документов ни лежало сегодня в государственных архивах — нельзя поручиться, что вот

то самое фронтовое письмо, которое лежит в вашем доме, не окажется впоследствии особенно сильным стимулом для этого пока еще неизвестного нам писателя, непредсказуемым образом взволнуя творческий ум более, чем тома давно и тщательно собранных документов... История великой войны не только в музеях и в подшивках старых газет, не только в памятниках над братскими могилами, она не только в томах исследований и сборников документов, вышедших после победы. Она то и дело оживает в житейском разговоре, в неожиданных слезах, в длинных и неторопливых, когда волнующе-драматичных, а когда уже, увы, и скучноватых рассказах оставшихся в живых ее участников, где так часто мелькают имена недоживших. Не надо думать, однако, с детским легкомыслием, что рассказы очевидцев вечно будут звучать в каждом доме нашей страны. Неминуемо настанут годы, когда рассказы эти будут пересказывать дети, а потом и внуки, получившие их из вторых уже рук. Потому-то необходимо не быть ленивыми и нелюбопытными, а взять в руки карандаш и тетрадку и записать услышанное и даже — слышанное уже по многу раз и вроде порядком настрявшее в ушах... Самое знакомое и само собой разумеющееся как раз самым успешным образом уходит невзначай в небытие. В закреплении на бумаге нуждается все — от большого до малого, — история целой жизни, длительный период прикосновенности вашей к делу бесспорно значительному, одно более всего запомнившееся событие, одна-две встречи с незаурядным человеком, памятные до сей поры, но все же, увы, нечувствительным образом с каждым годом выветривающиеся из памяти. Запишите, продиктуйте, расскажите, наконец, тому, кто сможет записать.

В апреле 1955 года один из защитников на суде над участниками Севастопольского восстания 1905 года, Н. Корженевский передал в отдел рукописей ГБЛ сохраненные им документы. Полвека назад, в 1906 году, он предложил, по почину Н. Муравьева, матросам, бойкотировавшим суд и потому не имевшим возможности выступить на нем, описать кто как сумеет ноябрьские события, чтобы хоть этим способом сохранить их для потомства. Многие откликнулись; эти письма и воспоминания в форме писем запечатлели множество важных фактов и мелких деталей исторического события,

а сверх того — и настроение участников восстания, и тот самоанализ, которым занимались они в ожидании суда. «Помню, еще мальчиком я чувствовал какую-то несправедливость, царящую где-то, но где, я не знал, а чувствовал; помню, что тогда еще мне нравились рассказы о всех ужасах Франции, и нравились они своею какой-то захватывающей прелестью, и тогда еще знал, что другого выхода, чтобы избежать этих ужасов, не было, — писал Н. Кассесинов своему защитнику. — Но вот, наконец, я на службе у государства, и в душу закрадывается сомнение, обязан ли я действительно настолько, что не должен щадить ни себя, ни тех, кого по указанию должен расстреливать и отнимать свободу?» Теперь многие из этих писем-воспоминаний опубликованы, вошли в научный оборот.

...Точности ради следует заметить: не надо ожидать, что пафос закрепления исторической памяти, когда он овладевает современным культурным деятелем, непременно будет гореть тем тихим и скромным пламенем, которое освещало келью летописца Пимена. Неизбежно обнаружатся и какие-то иные, быть может, не очень симпатичные формы этого пафоса, связанные и с личными качествами его носителя, и с психологическими трудностями, неизбежными при выполнении задач, им себе поставленных. Является фигура сборщика информации, человека не слишком приятного в общении. В какой-то момент разговора вы вдруг замечаете, что разговора, собственно, нет. Вместо диалога идет ваш монолог, умело направляемый краткими репликами собеседника. Внимательные глаза, устремленные прямо на вас, но вроде бы и не на вас; вопросы, вызывающие на откровенность, — в воспоминаниях ли о прошлом, в оценках ли настоящего. И когда желаемая откровенность достигнута — ценою, быть может, почти болезненного вашего усилия дойти до дна своих чувств и мыслей, дать добросовестный в них отчет себе и вызвавшему доверие собеседнику — в ответ вы слышите: «Так-так Теперь скажите, пожалуйста...» Одни при этом настораживаются; другие охладевают к беседе (люди старшего поколения нередко имеют стойкое отвращение ко всему, что напоминает ответ на анкету, поскольку слишком много раз за свою жизнь заполняли разнообразные анкеты); третьи, ничего не замечая, в самозабвении предаются воспоминаниям, обретая, на-

конец, молчаливого слушателя. Правда, он перебивает иногда ваш рассказ неожиданными вопросами, причем нередко в местах самых патетических, но это по молодой нетерпеливости... да и к тому же где было мальчику получить хорошее воспитание? Седые дамы, сохранившие до 80 лет прямую осанку, благосклонно и снисходительно кивают головой, продолжают рассказ. Да-да, продолжайте, пожалуйста, не умолкайте! — позволим мы себе вмешаться в разговор. Не забывайте — нет специальных, механических приспособлений для превращения событий в тексты для закрепления исторической памяти. Кто приложил к этому свои руки — теми руками она и пишется. А что снисходительные собеседницы назовут недостатком воспитания — это свойство сослужит здесь, так сказать, полезную службу: обладатель этого недостатка извлечет из того, кого в кругу коллег он называет информантом, те как раз сведения, о которых один из этих коллег вообще постеснялся спросить, другой так и не выбрал удобного момента, третий слишком уж вжился в печальную повесть, увлекся сочувствием к рассказу: внимание к личности рассказчика или рассказчицы — поверх и помимо специальных его целей — существенно обеднило фактический его улов и тем самым, необходимо признать, нанесло ущерб будущей истории.

Фигура подчеркнуто бесстрастного сборщика информации, человека с внимательными глазами, понятна, появление ее естественно и, можно даже сказать, исторически закономерно. Сознание утекающей безвозвратно памяти, истории, уходящей меж пальцев, нахлынуло вдруг разом. Молодые люди заторопились. Они увидели — уходит целый век, уходят люди, помнящие еще не только время до первой мировой войны, но даже конец прошлого века. Еще двадцатилетие назад не могло быть такого внимания ни к этому времени, ни к этим людям. Теперь объявились и эти люди, и внимание к ним; наступили к тому же годы, когда подошла к пределу своему жизнь ровесников нынешнего века и детей века минувшего. Да, молодые люди заторопились вовремя, и будущие поколения будут за это им благодарны. Что касается до их собственной личности и способа жизненного поведения, то надо иметь в виду, что погружаться сознательно в темные воды истории — дело непростое и нелегкое. Являющееся в процессе углуб-

ленного изучения научной и мемуарной литературы ощущение того, что факты частной жизни становятся в конце концов фактами истории, может оглушать своей новизной и неоспоримостью. В глазах молодых людей окружающая жизнь быстро меняет свой облик. Нередко при этом личная судьба живых представителей отошедшей эпохи теряет и привлекательность свою, и ту ценность, на признание которой хочет рассчитывать всякое личное существование. Это как бы уже и не судьба, а некое вместилище исторических фактов и мифов — и он, молодой наблюдатель нового времени, должен расчленить все это, внести в это скопище ясный свет научного сознания, чтобы из распавшихся частей сконструировать заново модель минувшей эпохи. Потому так холодно-внимателен и вместе так рассеян устремленный на вас взгляд молодого вашего собеседника. Он не вас видит, а проступающее за рассказом вашим время. Вы рассказываете о себе — он тут же, слушая вас, обдирает кожуру вашей частной судьбы, высвобождая общее и типовое. Он сам зачарован зрелищем таинственной метаморфозы — он видит, как бегут блики истории, как одно лишь имя великого поэта, вскользь упомянутое («Да, он тоже, помнится, тут был...»), на глазах обращает домашние разговоры, чьи-то полузабытые любовные переживания в исторический факт, в строку комментария... Привитое научной традицией сознание того, что каждая эпоха, глядясь на себя в зеркало, видит себя не тою, какой увидит ее взгляд будущего историка, чуждый ее предрассудков (но нередко зараженный, не будем забывать, предрассудками собственной эпохи), развивает в молодом ученом скепсис в отношении своих информаторов — живых носителей этой самооценки минувшей эпохи: ведь он знает о них то, чего сами они о себе не знают!

Все это похоже на симптомы некой болезни, которую можно было бы назвать культурно-историческим психозом, употребляя это слово разве что в медицинском смысле и, разумеется, не внося в него никакой нравственной оценки. Болезнь эта не опасная и едва ли не обязательная. Она имеет свойство растекаться, захватывая иногда и собственную частную жизнь ее носителя. Вот он и сам уже хочет войти в историю: он стремится построить свою жизнь так, чтобы в ней не было отходов, не было внеисторических поступков и зна-

комств. Он знает уже точно то место, где завихряется сейчас движение истории, где находится ее роза ветров. Он уже видит страницы будущих мемуаров, где мелькает его имя: «В эти годы всем нам запомнился...» или даже строку комментария: «Прототипом, по-видимому, послужил...» Это довольно обыкновенные явления той перегруженности историзмом, когда человеку — если он активен и деятелен, — начинает казаться, что уж кто-кто, а он-то, вооруженный знанием самой доброкачественной на сегодняшний день научной традиции, сумеет управиться со своею судьбой так, что будущему историку ничего не остается, кроме как принять его собственное ее толкование. Потому оставим его на том месте, где он готовится к будущей встрече с историей. Здесь вопрос более общий, выходящий за границы рассуждения о том, кому и как записывать сегодня воспоминания. Это вопрос о том, как вообще соотносится «живая жизнь» с абстракцией истории.

Во все времена были люди, сознательно старавшиеся стать историческими лицами, чутко ощутившие ту невидимую, но сильную струю, которая выносит явления текущей жизни в полные воды Истории, и шагнувшие в этот поток. И чаще всего он действительно исправно доставлял их к месту назначения. Были и другие люди, которые, не думая об истории, а занятые только, казалось, заботами текущей современности, сами формировали историческое лицо своей эпохи — с силою, настойчивостью и самоотвержением начиная своей деятельностью главнейшие ее направления. И были третьи, которые хорошо чувствовали ток этой родившейся уже струи, но в силу особенностей личности ли, убеждений ли не могли заставить себя вступить в него, хоть и видели ясно, как относит их в сторону некоего неисторического бытия: «Что ты мне толкуешь о значении моей деятельности, о ее справедливой оценке? — с раздражением отзывался на письмо одного из друзей Ап. Григорьев, чуткий уловитель духа истории, ее веяния — по введенному им же обозначению. — Тут никто не виноват — кроме жизненного веяния. Не в ту струю попал, — струя моего веяния отошедшая, отзвучавшая — и проклятие лежит на всем, что я ни делал». В том же письме (от 23 сентября 1861 года) он разъяснял положение свое, как сам его понимал: «Если бы я верил только в элементы, вносимые Островским, —

давно бы с моей *узкой,* но относительно верной и торжествующей идеей я внесся бы в общее веяние духа жизни... Но я же верю и знаю, что одних этих элементов недостаточно (...), что полное и цельное сочетание стихий великого народного духа было только в Пушкине...» и т. д. Одним нужен был Островский, другим — Решетников, а ему ни более ни менее как новый Пушкин!..

Запросы, предъявленные критиком к текущей литературе, были, таким образом, чрезмерно широки и, по тогдашним временам, туманны и неопределенны — и статьи его остались равно чужды людям противоположных воззрений; деятельность его как бы выпала в осадок умственной жизни эпохи и долгое время оставалась вне исторического рассмотрения. Но прошло время, и стало видно, что эпоха не полна без этой одинокой, как бы вразрез общему движению совершавшейся работы. Уместно поэтому заново прислушаться к словам Ап. Григорьева, не теряющего уверенности в своих странных литературных ожиданиях:

«Не говори мне, что я жду невозможного, такого, чего время не дает и не даст. Жизнь есть глубокая ирония во всем. Во времена торжества рассудка она вдруг показывает оборотную сторону медали, посылает Калиостро и прочее; в век паровых машин — вертит столы и приподнимает завесу какого-то таинственного, иронического мира...»

— Когда же, в какой день или час берутся люди за мемуары?

— Более всего диктуется это личными обстоятельствами. Толчком служит то неожиданно выпавшее относительно свободное время или уединение, то чтение чьих-то мемуаров, оказавшихся заразительными либо тоном своим, либо кровно близким материалом, а то и поразивших простотой изложения, впервые открывшей человеку, не бравшему уж много десятилетий в руки пера, кроме как для письма или заявления, что не боги горшки обжигают.

Чаще всего сейчас обращается к мемуарам самое старшее поколение — люди рождения 1900-х годов, потерявшие почти всех своих друзей и близких и возрождающие их в своей памяти. «...В период моего полного одиночества, когда все помыслы направлены к прошлому, я не могу себе отказать в радости вызывать

милые образы тех, «кого уж нет..», — так начала в 1952 году свои воспоминания Татьяна Александровна Аксакова-Сиверс, дочь известного генеалога А. Сиверса. В течение двух с лишком лет ей удалось завершить свой поистине замечательный труд, вместивший не только ее жизнь, но и жизнь многих людей ее поколения, разделивших общую для всех судьбу, сближенных своими биографиями.

В предисловии к изданию воспоминаний П. Анненкова есть рассуждение о людях не только с судьбой, но





и с биографией и о людях с судьбой, но без биографии, жизнь которых «складывается, как роман без фабулы — эпизодами, очерками, без особой конструкции». Размышляя над этими словами, сказанными о людях века минувшего, приходишь к далеко не новому соображению, что люди редко выбирают себе биографию — чаще она диктуется внешними обстоятельствами. Читая сегодня мемуары семидесятилетних и восьмидесятилетних людей, видишь — их биография чаще всего ушла так далеко в сторону от первоначального проекта, как не привидится ни в каком сне; в ней ничего

нельзя ни изменить, ни исправить, и тогда единственным действием, способным дать ощущение духовной и душевной компенсации, может стать подробная, ничем не ограничиваемая фиксация всего пережитого и виденного.

К цитированным нами воспоминаниям избраны эпиграфом строки бунинского стихотворения:

Молчат гробницы, мумии и кости.
Лишь слову жизнь дана
Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь Письмена.

И нам дано лишь это достоянье.
Учитесь же беречь
По мере сил, в дни злобы и страданья,
Свой дар бессмертный — речь.

Только письменные документы могут сделать это: годы, которые, казалось, выпали из истории, — истории вернуть, невозместимое — возместить, прочерк и пробел заполнить текстом. Делая по-настоящему самоотверженные усилия письменного закрепления пережитого, люди, чью биографию определило время, получают возможность воздействовать на очертания своей судьбы: перипетии личной их жизни и ее причудливых изломов оказываются облиты ясным светом разума и высокого нравственного чувства — и под этим светом частная жизнь восстает как жизнь историческая.

Это не означает, что за мемуары следует браться на склоне дней. Бывает, что и ранее приходит тот час, когда человек взглядывает вдруг на свою жизнь как бы извне и видит в ней судьбу. «Каждому поколению отведен свой участок времени... наступает момент, когда видит оно, что и экзамены держало, и влюблялось, и творило — «недаром»... что за все оно ответственно, что все было закономерно. Это точка зрелости и ужаса. Оно видит, что никогда не уйти уже ему, не спрятаться от невидимых и неведомых причин, некого упрекать и ничего не поправить. Что оно уже стало следствием. Что оно уже в лапах Истории, с которой так дерзко и беспечно заигрывало...» (Б. Эйхенбаум). К такому «мигу сознания» человек может подойти и в 35—40 лет. И значит, он созрел для того ретроспективного взгляда,

без которого невозможны мемуары с относительно широким захватом времени и событий.

Лаконический и многообъемлющий очерк «приятности» и трудности мемуаров автобиографических дал А. Пушкин. «Писать свои Memoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать можно; быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда становится, как с разбега перед пропастью — на том, что прочел бы равнодушно. Презирать (braver) суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно».

Последние слова так глубоки и значительны, что перед ними и впрямь останавливаешься — «как с разбега перед пропастью». Бумага не все терпит; перо медлит на тех самых словах самоосуждения, которые в мыслях уже произнесены были не раз. Собственный дурной поступок, живо, как сейчас, стоящий до сих пор перед вашими глазами, не ложится на бумагу — ведь, облекая его в слова, вы будто даете ему вторую жизнь, тогда как достаточно натерпелись и с первой. Мемуары, оживляя прошлое, могут ввести человека в безысходный круг самоистязательных размышлений. Инстинктивная боязнь этого — болезнь ворошить прошлое — удерживает многих от писания мемуаров. Как бы ни был далек автор от жанра исповеди, но воспоминания о прошлом оказываются для него в неизбежной связи с проблемой биографии: с осознанием и оценкой и своей биографии, и того отношения, в котором стоит прошлое человека к его настоящему, «биография» (если понимать под ней уже совершенные поступки и ту цепь, в которую они слагаются) — к жизни (то есть к сегодняшнему поведению человека). Жизнь любого из нас всякий день складывается в биографию, и биография может оказывать сильнейшее влияние на жизнь. Гнет собственной биографии — один из самых тяжких гнетов, и история, да и житейские наблюдения каждого, показывают, что мало кто этот гнет выдерживает. Диктат совершенного когда-то поступка направляет — и нередко дурным образом — поступки последующие. Раз нельзя изменить биографию — остается лишь подтверждать ее дальнейшей жизнью. Этот ложный силлогизм исказил и будет искажать множество судеб, незаконным

образом отменяя возможность нравственного возрождения — едва ли не ценнейшую из дарованных человеку способностей.

Так что же делать человеку с его биографией в том случае, если она не являет собой прямую стрелу, с первых его сознательных действий ни разу не уклонявшуюся с верного пути? Быть может, лучшее средство — забвение? Может быть, надо забывать все дурное, а заодно и печальное, чтобы иметь силы жить? И тогда писание мемуаров — занятие вредное, растравляющее душу и расслабляющее волю?..

В XVIII веке на дело смотрели спокойнее, со всею верой в силу человеческого разума, свойственной этому веку. «...Кажется мне, не бесполезно воспоминать прошедшие наши проступки, — рассудительно писал 4 ноября 1788 года соученик и «сочувственник» А. Радищева Алексей Михайлович Кутузов в одном из обширнейших своих писем к Ивану Петровичу Тургеневу, — ибо действия тогдашних страстей, сопровождавшие наши погрешности, не существуя более, позволяют нам видеть одно токмо обнаженное деяние, и мы, рассматривая оное, яко уже не принадлежащее нам, судим оное беспристрастнее. Таковое рассмотрение, ежели только управляется надлежащим образом, есть, по мнению моему, одно из целительных средств для уврачевания будущих наших недугов. Собрание таковых замечаний составляет (позволь употребить уподобление) карту, означающую все подводные камни. О коль щастлив, коль благополучен тот, который справляется по часу с нею! Удержав твердо в памяти все опасные места, тем удачнее может править своею ладьей, не так часто будет подвергнут кораблекрушению...»

В недавно переведенном у нас романе У. Фолкнера «Похитители» есть сцена, почти дидактически разъясняющая, что делать человеку в жизни с его биографией. Герой, одиннадцатилетний мальчик, возвращается в дом родителей после трехдневного отсутствия, и совершенные им за это время тяжелые проступки гнетут его и мучат. В душевном смятении и тоске он начинает разговор со своим дедом:

«— Я лгал, — сказал я.

— Поди сюда, — сказал он.

— Не могу, — сказал я. — Говорю тебе, я лгал.

— Знаю, — сказал он.
— Так сделай что-нибудь. Что угодно. Только сделай.
— Не могу, — сказал он.
— Ничего нельзя сделать? Ничего?
— Я этого не говорю, — сказал дед. — Я говорю, что я не могу ничего сделать. Но ты можешь.
— Что? — спросил я. — Как мне это забыть? Скажи — как?
— Тебе этого не забыть, — ответил он. — Ничто никогда не забывается. Ничто не утрачивается. Оно для этого слишком ценно.
— Так что же мне делать?
— Так и жить, — сказал дед.
— Жить с этим? Ты хочешь сказать — всегда? До конца моей жизни? И никогда не избавиться от этого? Никогда? Я не могу. Разве ты не понимаешь — не могу.
— Нет, можешь, — сказал он. — И должен. Настоящий мужчина только так и поступает. Настоящий мужчина должен пройти через все. Через что угодно. Он отвечает за свои поступки и несет бремя их последствий...»

Но при этом любой торг с собственной биографией — дело суетное и недостойное. Нельзя выменять поступок на поступок, давний грех на сегодняшнюю добродетель. Ничего нельзя ни искупить, ни исправить, ни забыть — и потому именно нельзя забыть, что «оно для этого слишком ценно». Забывание, смывание «строк печальных» своей биографии — это внутреннее, подспудное, неявное для самого человека, им подчинение. Противостоять можно лишь тому, в чем не побоялся дать отчет — и не однажды. Память — это наша власть над нашим прошлым; чем острее она и яснее — тем человек, возможно, внутренне свободней. Можно было бы сказать: «Пока помню — живу», и в этом, может быть, разрешение взаимоотношений между нашей жизнью и нашей биографией. Оно в том, чтобы нести бремя всех последствий и быть готовым ответить за все — молча и вслух, устно и письменно, перед собой, перед современниками и перед потомками. Оно в том, чтобы помнить, что поступок необратим, но, пока человек жив, его жизнь продолжается, и ее возможности — безбрежны. Нельзя озираться в тревоге на свое прошлое и,

цепенея, следить процесс ежечасного овеществления своей жизни — в свою биографию, как и настоящего — в историю.

Сложность и острота психологической этой ситуации заключена еще в том, что чем напряженнее участвует человек в сохранении культуры, в закреплении памяти — тем сильнее и, может быть, смятеннее сознает он себя не только субъектом, но и объектом истории — в качестве рядовой фигуры времени. Сознавать это нелегко. Человек живет, двигается, приходит в волнение, отдается своим заботам, а между тем где-то в никому не видимой книге пишется и его биография, которая не может быть переписана. Бесстрашие жить включает в себя и это сознание. Не следует абсолютизировать печатное слово, представлять его единственным способом закрепления человеческой культуры. «Я б такое мог рассказать о своей жизни какому-нибудь писателю, что он целый роман бы написал!» — вот характернейшая фраза, не однажды слышанная каждым. Но представьте себе, что нет такого писателя; подумайте о разветвленности письменной культуры, о разнообразных ее видах и разных ее назначениях — без этого невозможно правильное кровообращение и функционирование организма исторической памяти.

Разнообразнейшая жизнедеятельность нашего общества не может вместиться ни в журнальные страницы, ни вообще в какую бы то ни было печатную продукцию текущего дня. Она бесконечно шире и многомернее этой продукции, и поток документальных о ней свидетельств разделен на сотни тысяч и миллионы ручьев.

Среди наших корреспондентов — немало совсем молодых людей, обнаруживших живую заинтересованность проблемой личного архива и его связи с историей.

«Комната моя заполнена связками книг и журналов. Но есть среди всего этого два совершенно особенных ящика. Несколько дней назад умерла моя 96-летняя бабушка. Вот из этих ящиков я достала старые блокноты, в которых записаны ее рассказы, слова и выражения.

В них же несколько сот писем, все, что сохранилось от моей работы в газете и театре, все, что рассказыва-

ет о моем пребывании в Сибири, Ленинграде и многих других местах. Блокноты со стихами, набросками рассказов. Старые газеты, дневники. И не только мои, но и отданные мне на сохранение другими людьми.

Все это — пыль и неудобства, тем более что не имею возможности переплести, привести в порядок, разложить по полкам. Но все это — наслаждение, жизнь не только моя, но и многих людей, ярчайшие приметы времени. Приходится часто переезжать с места на место, но все это всегда со мной. Остается только сказать Вам, что на фоне своих сверстников я выделяюсь пристрастием к этим пыльным бумагам (мне 26 лет)» (Лариса П., Куйбышев).

«...Раньше я очень скептически относилась к хранению каких-либо писем и своих дневников (у меня их было три, но все их я предала огню, а знаете почему? Боялась, что кто-нибудь их прочтет). Сейчас я храню все письма, адресованные мне, и веду тетради, где записываю все свои спорные вопросы. А началось все из-за моей подруги. Так получилось, что мне пришлось выехать из г. Ташкента на полтора года. И она все до единого моего письма сохранила, а я — нет. Я даже и не думала о хранении ее писем. И знаете — я искренне сожалею. Но я только начинаю жить. В этом году я кончила 10-й класс. И теперь у меня появилось желание иметь свой архив...» (Л. Г., Ташкент).

«Мне шестнадцать с половиной лет. Учусь в десятом классе. Отличница. Летом работала экскурсоводом. Дело в том, что я веду дневник и у меня есть небольшой архив (около 60 писем). Он у меня особого характера: я храню письма людей, которые дороги мне. Я сохраняю не только присланные мне письма, но и черновики своих писем. Ранее это, кажется, называлось любовной перепиской.

Дневник я уже веду три года, правда, не очень регулярно. Записываю в него все, что волнует меня, свои мечты о будущем, наблюдения и прочее... Моя мама считает, что вести дневник — это просто зря тратить время. Я не согласна с ней. Но, может быть, она права? Ведь в моем дневнике нет почти ничего, кроме личных переживаний. ...Благодаря дневнику я заново переживаю все то, что я чувствовала год, два года назад. Не знаю, может быть, с годами я уже не смогу вспомнить все даже с помощью дневника, но мне очень хо-

чется оставить на долгое время неизменными ту радость и тревогу, которую я испытала.

Мне почему-то кажется, что если бы мои дневники попали в руки писателя, то они смогли бы послужить основой художественного произведения. А может быть, это кажется многим?»

А вот письмо человека совсем другого возраста — в нем слышен голос целого поколения и аналитически представлено отношение этого поколения к проблеме личного архива.

«Все, что вы пишете, правильно. Но для того чтобы хранить и систематизировать личный архив, а тем более писать мемуары или вести дневник, нужны, во-первых, оседлость, а во-вторых, свободное время. Ни первого, ни второго (в особенности второго) у многих нет. Я имею в виду не писателей, ученых или крупных деятелей, а рядовых тружеников, к которым, собственно, вы и обращаетесь.

Я принадлежу к поколению, с юности приученному к тому, что работа — это главное в жизни, а все остальное — лишь постольку-поскольку, как получится. Главное было — работать изо всех сил, а следить за своей жизнью, сохранять и беречь ее следы — в этом не было потребности и на это не было времени. Как в песне: «И некогда нам оглянуться назад!»

Почти ровесники революции, мы видели более чем за половину века очень много. Пожалуй, сейчас пора бы и оглянуться. За сорок с лишним лет работы в геологии я жил и работал в Казахстане (6 лет), на Урале (10 лет), в Якутии (8 лет), работал в Армении, в Средней Азии и Красноярском крае. Что же от всего этого осталось (не считая научных статей и отчетов), кроме воспоминаний? Осталось три чемодана переписки с матерью (мои и ее письма), которая велась регулярно 20 лет — с 1933 года до ее кончины в 1953 году. Чемоданы эти лежат в чулане вместе со всяким барахлом. Они много путешествовали из края в край, но остались целы. Если бы эти письма подобрать по датам, получилась бы хорошая хронологическая канва для мемуаров. Я неоднократно пытался этим заняться, но дальше благих пожеланий дело не шло. Сначала решил — после пятидесяти лет, потом — после шестидесяти. Но всегда находилось дело, которое увлекало, а главное — приносило или сулило реальную, ощутимую

пользу (пусть небольшую) обществу и стране. Это мне казалось (и кажется до сих пор) гораздо важнее, чем мемуары, хотя бы и интересные не только для себя. Сейчас я «запрограммировал» свою работу до 1980 года. Как раз будет 70 лет, десять пятилеток и 50 лет трудового стажа. К тому же, вероятно, удастся закончить важное исследование, которым я со своими сотрудниками занимаюсь последние три года. Вот тогда можно будет взяться и за мемуары...»

Пожелаем автору письма удачи в выполнении плана, а архивистам — решения вопроса: что делать с уже сохраненным?

Пишущий мемуары — если все-таки выбрал время взяться за них — должен понимать — да, при его жизни его записки скорее всего не увидят света. Хотя бы потому уже, что в них названы имена ныне живущих людей, а среди фактов их биографии (и хорошо еще, если фактов, а не полумифов) рассказаны и такие, которые по естественному чувству такта не могут быть преданы огласке, и сама мысль о такой огласке удержала бы мемуариста от изложения этих фактов. Одни из пишущихся ныне мемуаров будут напечатаны со временем, другие — и это особенно важно понимать — целиком не будут опубликованы никогда, но войдут в научный обиход как важный исторический источник. На них будут ссылаться экономисты, статистики, историки литературы и историки общества; они станут, быть может, материалом для писателя. Отчетливое осознание всего этого необходимо каждому.

Дело, внутренне объединяющее всех людей, по давней традиции называющих себя интеллигентами, во многом видится нам именно в этом — сохранять непрерывность культурной традиции, не дать пресечься потоку текстов, закрепляющих наш сегодняшний и вчерашний опыт. Будущие историки и архивисты покажут, как выполнялось это общее дело, откроют многочисленные факты подвижничества и самопожертвования, скрытые сегодня за оболочкой незаметной частной жизни, огражденные от общественного внимания многообразными обстоятельствами, включая и обычную человеческую скромность, желание остаться в тени. Этих людей должно быть все больше, поток памяти должен шириться, а не слабнуть.

В одном из рассказов звездного путешественника

Ийона Тихого, рожденного фантазией польского писателя С. Лема, герой попадает в лабораторию некоего профессора Коркорана. Длинным, еле освещенным коридором профессор подвел Ийона к большой стальной двери, вынул из кармана халата ключ, отпер дверь и вошел первым. «...Мы оказались в высоком зале, почти совсем пустом. По стенам проходили вертикальные толстые прутья... К прутьям были прикреплены полки, очень прочные, с подпорками, на них стояло десятка полтора металлических ящиков; знаете, как выглядят те сундуки с сокровищами, которые в легендах закапываются корсарами? Вот такими и были эти ящики с выпуклыми крышками, на каждом висела завернутая в целлофан белая табличка, похожая на ту, какую обычно вешают над больничной кроватью. Высоко под потолком горела запыленная лампочка, но было слишком темно, чтобы прочитать хоть слово из того, что написано на табличках».

Нечто близкое к этой картине видит и современный архивист, когда он отпирает большую стальную дверь архивохранилища (войти в которую имеет право только и исключительно работник, да и то не каждый, этого архива), а потом идет мимо многих и многих стеллажей, стоящих рядами. Проходы между стеллажами узки. На полках стеллажей не металлические ящики, а прямоугольные картонные коробки (чтобы уместился бумажный лист достаточно большого формата — такой, например, каким был лист гербовой бумаги, на котором писались прошения и доклады).

Этих коробок (картонов, как их называют) не полтора десятка, а десятки тысяч. Личный или семейный архив занимает — в зависимости от того, насколько он был пощажен временем, от объема деятельности фондообразователя (чем определяется и количество его собственных рукописей, и количество полученных им за его жизнь писем), от того, сколько десятилетий охватывают материалы архива, — один-два или до нескольких сотен картонов. Лампочки горят, как в рассказе Лема, высоко под потолком — из соображений противопожарных, — но не одна и не тусклая, а очень много — у каждого стеллажа, чтобы можно было прочесть надпись на картоне. Эти надписи — имена людей, большей частью давно умерших. На этом месте вернемся еще раз к рассказу Лема. «— Тихий, — обратился ко мне

профессор, держа руки в кармане халата, — вслушайтесь на минуту в то, что здесь происходит. Потом я вам расскажу, — ну, слушайте же!

...Я закрыл глаза и больше из простой вежливости, чем из интереса... стоял неподвижно. Собственно, ничего я не услышал. Какое-то слабое жужжание электротока в обмотках, что-то в этом роде, но, уверяю вас, оно было столь тихим, что и голос умирающей мухи можно было бы там превосходно расслышать...» Выясняется, что каждый из ящиков профессора Коркорана «содержит электронное устройство, наделенное сознанием», — как наш мозг, причем устройство это таково, что в каждом из этих ящиков как бы заключен живой человек, думающий, чувствующий, не сомневающийся в реальности своего существования... «— Этому, — он показал на первый ящик с края, — кажется, что он — семнадцатилетняя девушка, зеленоглазая, с рыжими волосами, с телом, достойным Венеры. Она дочь государственного деятеля... влюблена в юношу, которого почти каждый день видит в окно... который будет ее проклятием. Этот, второй, — некий ученый. Он уже близок к построению общей теории тяготения... А там, выше, находится член духовной коллегии, и он переживает самые трудные дни своей жизни, ибо утратил веру в существование бессмертной души; рядом, за перегородкой, стоит... но я не могу рассказать вам о жизни всех существ, которых я создал...» В углу лаборатории Коркорана медленно вращается барабан, на целлулоидных лентах которого записаны импульсы, соответствующие «тем ста или двумстам миллиардам событий, с какими может столкнуться человек в наиболее богатой впечатлениями жизни», но судьба тех, чье сознание заключено волею ученого и фантазией писателя в ящики на полках, не предопределена и неизвестна до конца даже их создателю, «поскольку события записаны там, в барабане, на рядах параллельных лент, и лишь действующий по правилам слепого случая селектор решает, из какой серии записей приемник чувственных впечатлений того или иного ящика будет черпать информацию в следующую минуту...». И тот едва уловимый гуд электротоков, который слышит Тихий в этих стенах, оказывается еле слышным звуком ежесекундно вершащейся судьбы.

Нет, мы, разумеется, не призываем увидеть в архиво-

хранилище то подобие жизни, которое порождено прихотливой и, бесспорно, несколько мрачной фантазией писателя. Архивист, стоящий перед картонами с красиво выписанными на них именами ученых, общественных деятелей, философов, полководцев, писателей, сознает, что перед ним — письма, которых не суждено перечесть ни адресату, ни автору; тексты пламенных, смелых и умных речей, произнесенных много десятилетий, а то и столетий назад и заворуживших аудиторию; но не сыскать теперь ни оратора, ни слушателей. И фотографии прошлого века, где владельцы и владелицы уложенных в картоны архивов смотрят на нас взглядом прямым и ясным, гордо, вполоборота повернув голову, по вкусу фотографов тех дней, — эти фотографии, увы, слишком напоминают те, что помещают в овалы на надгробиях.

Архивист ежедневно держит в руках листки, написанные людьми уже умершими. Перед ним раз за разом проходит жизнь человека с его рождения до последней точки — и печальное обстоятельство заключено в том, что точка эта поставлена как бы с самого начала!

Эсхиловский Прометей считал себя великим благодетелем человечества именно за то, что он лишил людей дара предвидеть свою судьбу.

Архивист, как и большинство смертных, к счастью, лишен этого дара, но зато изо дня в день он держит в руках документы, запечатлевшие цветущую пору того самого человека, свидетельство о смерти которого лежит тут же, рядом, в соседнем картоне. Он видит только законченные, завершившие свой земной круг судьбы. И в этом смысле его служба — вредное производство.

Безопасны для душевного спокойствия занятия поколениями давно умершими. Это подлинно древний мир, и все устраивается прекрасно: вот наши занятия, а вот мы оставили их и живем себе нынешней жизнью, во многом посторонней предмету этих занятий. Но есть невыдуманная опасность в занятиях временем не слишком далеким, еще оставившим очевидцев. Это еще не памятники и не руины — жизнь еще не покинула их, везде видны ее следы, и они, может быть, старят вас, приноравливают ваш возраст к своему... Эти трудности профессии не видны постороннему глазу.

Архивист знает — есть и другой, более высокий, чем сожаление о быстротечности жизни, смысл во всем, что разворачивается ежедневно перед его глазами и неизбежно начинает влиять на самый строй его мыслей.

Значительная часть работы архивиста неизбежно остается в тени, не может быть предметом общественного внимания. Возвращаясь в «собственное» время, он не рассказывает семейных секретов, которые приходится ему выслушивать, и содержания дневников, которые привелось ему прочесть. Здесь действует профессиональная этика, заставляющая вспомнить о врачебной тайне или об обязанностях нотариуса, заверяющего завещание. Тот, кто имеет вкус к обсуждению чужой частной жизни, мало пригоден для профессии архивиста. Даже помимо служебной этики, есть некие нравственные нормы, не позволяющие выносить на всеобщее обозрение те не совсем обыкновенные отношения, которые завязываются ежедневно — в том числе и сегодня — во многих домах, куда приходят сотрудники архивов, чтобы повести разговор о привычном для них, но от этого не менее сложном, деликатном и обладающем в конечном счете бесспорной историко-культурной правомерностью деле — о передаче частных бумаг на государственное хранение.

А все, что унесу с собой
Под твой, кладбищенская птица,
Зеленый куст, звалось судьбой
И никогда не повторится.

В этих стихах безвременно умершего С. Дрофенко есть подлинная значительность. Не возвратится — это известно каждому, это умопостигается рано или поздно всяким. Здесь только грустный смысл, одна лишь безнадежность. Но важнее, но более высокоосмысленно сказанное поэтом — «не повторится». В строках четверостишия обозначилась ценность каждой, личной, отдельной жизни, непререкаемая и неотменяемая ценность неповторимости. Завершившуюся жизнь, закончившееся индивидуальное чье-то существование невозможно скопировать, сдублировать, воссоздать в точно таком же виде на ином материале... Все умирает вместе с нами, все уходит, но потому и остается, живет в памяти близких, а то и дальних. Ценен неповторимый облик явления, неповторимость личности, и потому так

важны нам закрепленные следы исчезнувшего бытия. Нет, не только люди «первого ранга», не только осуществившиеся целиком предназначения волнуют душу архивиста, когда он остается наедине с бумагами. Среди этих бумаг неизбежно много и тех, что отразили жизнь рядовых людей времени. Но и их имена запечатлены навечно, об их деятельности рассказано сухим языком служебного документа и страстным голосом писем, дневников и мемуаров.

Работа в архиве учит терпению; она освобождает человека от суетности, придает силы, сообщает душевное равновесие. Архивист знает — нет почти ничего тайного, что не стало бы явным; история не может быть переписана; судьба человеческая длиннее кратких сроков земного существования. Он ходит рядом с неопровержимыми свидетельствами бренности человеческой жизни, но неизменно чувствует себя на службе неумолкающей памяти человечества.

Могущество тех резервуаров культуры и истории, которые призван он умножать и обслуживать, огромно — оно гораздо больше, чем это может вообразить непосвященный. Если представить такую фантастическую ситуацию, что какой-нибудь маньяк, обладающий большими возможностями, поставил бы себе преступной целью вытравить во всех архивах страны свое имя или же все связанное с неким событием, которое хотелось бы ему изгладить из памяти потомков, то гипотетические результаты такой затеи будут совсем по-разному оценены человеком с богатым воображением, но незнакомым с архивным делом, и архивистом. Архивист знает — выполнить этот дьявольский план невозможно никогда, ни при каких фантастических обстоятельствах: столь разветвленны, неохватны взглядом пути отражения имени или события в разнообразнейших документах сотен и тысяч архивов современников...

Разбирая и описывая огромный — занимающий 145 картонов — родовой архив графов Орловых-Давыдовых, поступивший в начале двадцатых годов из национализированной подмосковной усадьбы Отрада в Румянцевский музей, сотрудница отдела рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина К. Майкова, отдавшая архивному делу около тридцати лет, выбрала эпиграфом к своему печатному обзору архива слова аббата Ле-

роке: «Не вздумайте жалеть тех, кто составляет каталоги рукописей: это самые счастливые из смертных...»

Немногие из архивистов станут оспоривать эти слова. Они знают, что работа в архиве не только звучащее со всех сторон memento mori. Это и постоянное, ежедневное созерцание того, как на вечное хранение ложатся документы, существование которых не подвластно отныне изменениям временной шкалы ценностей, не подвержено колебаниям стрелки сегодняшнего дня.

Опыт архивной работы учит многому, и жаль, что он мало еще становится достоянием общества. Приведем один лишь из возможных аспектов той архивоведческой грамоты, начатки которой необходимы, по нашему убеждению, каждому. Прекрасно, когда нравственный регулятор заложен в самой душе человека и не может быть выдернут оттуда никакими внешними силами, когда даже полная, всей ситуацией гарантированная уверенность в том, что, соверши он сейчас неблаговидный поступок, и никто никогда не узнает, не может никоим образом повлиять на поведение человека. Но есть натуры, которым необходимы внешние подпоры, натуры, чьи нравственные устои зыбки и чьи поступки зависят от множества привходящих обстоятельств. И можно вообразить себе с достаточной долей вероятности систему представлений человека этого типа, незнакомого с тем, сколь огромна та часть сегодняшней нашей жизни, которая постепенно перетекает в хранилища архивов и накапливается за прочными их стенами.

Такой человек, по-видимому, живет с ощущением, что произнесенное им слово, сослужив свою службу, истаивает в воздухе, что неблаговидный поступок с годами забывается и изглаживается вовсе, что два его письма, написанные в один и тот же день, но содержащие противоположные оценки некоего факта, поступка, произведения, никогда не сойдутся в одной точке. Быть может, жизненное поведение многих было бы несколько иным, если бы они знали так же ясно, как знают это архивисты, что их письма не улетают по касательной к земной поверхности в бесконечность небытия, а лягут рано или поздно рядом на стол исследователя, что слово, сказанное публично, дойдет до по-

томков в десятках свидетельств — дневниковых, мемуарных, эпистолярных.

В той брошюре 1919 года, которую цитировали мы раньше, призыв обращен был к каждому из соотечественников: «Придет время, нас не станет, и наша пора, богатая событиями большого значения, сулящая стать преддверием новой жизни, сама отодвинется в прошлое. Ее будут жадно и пристально изучать, в ней будут искать ответов на самые разнообразные вопросы... Живых свидетелей наших дней не останется. Где же будут искать сведений о нашем времени? Конечно, прежде всего и больше всего во всем том, что сохранится от нас, что нас переживет: в новом строе хозяйства, в новых общественных и государственных учреждениях, одним словом, в новых формах жизни. Но многое в них может показаться непонятным, если мы сами не позаботимся о том, чтобы сохранить следы тех мыслей, чувств и желаний, которые одушевляли нас при их создании. В чем же можно будет найти отражение всего того, что сейчас движет нами в происходящей замене старого новым? В спокойном, бесстрастном документе, в книге, журнале и газете, в живой личной переписке деятелей наших дней от мала до велика, наконец, в вещественных результатах наших знаний и умений. Документы, бумаги и переписка хранятся в архивах, книги, журналы и газеты — в библиотеках, а предметы, созданные знанием и искусством, — в музеях. Отсюда становится понятным, что прямой долг каждого культурного человека состоит не только в бережной охране всеми зависящими от него средствами существующих архивов, библиотек и музеев... но и в пополнении названных хранилищ собственными материалами наших дней...»

Призыв этот не устарел и посейчас. Любое отлагательство и промедление здесь невозможно. По каждом из нас не только звонит колокол, так же ежечасно, взывая именно к нам и ни к кому другому, поют трубы истории.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ

РУКОПИСИ ГОВОРЯТ

«ПИШИТЕ ПИСЬМА!»

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

ИБ № 2366

Мариэтта Омаровна Чудакова

БЕСЕДЫ ОБ АРХИВАХ

Редактор **С. Михайлова**
Художник **А. Колли**
Художественный редактор **В. Кухарук**
Технический редактор **Е. Михалёва**
Корректор **Г. Василёва**

Сдано в набор 06.08.79. Подписано к печати 04.02.80. А01141. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Гарнитура «Литературная». Условн. печ л. 11,76. Уч.-изд. л. 11,9. Тираж 50 000 экз. Цена 55 коп. Заказ 1352.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

55 коп.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



МОСКВА, 1980

МАРИЭТТА ОМАРОВНА ЧУДАКОВА

Мариэтта Омаровна — историк литературы, кандидат филологических наук. Она лауреат премии Московского комсомола. М. Чудакова — автор книг и статей о жизни и творчестве Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Эффенди Капиева, Юрия Олеши, о современной советской прозе.

Работая в отделе рукописей и отделе редких книг Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, М. Чудакова много занимается архивными изысканиями. В книге «Беседы об архивах», отмеченной дипломом на Всесоюзном конкурсе научно-популярной литературы, она рассказывает о работе архивиста и о том, какое значение в жизни общества имеют документы прошлого и настоящего — свидетельства нашей истории.